Пимен Карпов

Верхом на Солнце

Московское
Товарищество Писателей

Редактор М. Кац *Техн. ред. М. Чуванов*
Художник А. Сафронова

Интернациональная типография, ул. Скворцова-Степанова, 3. З. Т. № 177. Сдано в набор 25.1.33 г. Подписано к печати 17.4..33 г. Статформат А-5, 105×148. Печ. л. 4½. Мособлит № 76. Тираж 5200 экз
1933 *МТП № 312/47*

1. Верхом на солнце

... Кто бы ты ни был — ты не потерял счастье, если сохранил в сердце жар юности и красоты... Прошли года. Я дожил до седин. А мне все кажется, что солнечное мое младенчество было только вчера.

Цвела весна. Я томился, помню, в углу хибарки, в землянке-клетушке вместе с теленком, привязанным у окна.

Раз кто-то постучал в слюдяное окно, смеясь:

— Хочешь покататься верхом на солнце?

Гляжу — отец.

Выбегаю из землянки наверх. Солнце — огонь!

— Уже весна?

— Весна. Конец зиме!

Зима держала меня, старая карга, в норе: изредка только выбегал я, босой, покататься по льду на речке, в мороз...

И вдруг — огненный конь в золотой гриве!

Вижу, что сесть на него трудно. Да и совсем это не конь, а жар-птица. Над белой ватой садов в цвету она качается, точно привязанная на шесте. Грозит сорваться на огненных крыльях и все сжечь. Пригрелся я на солнышке: нет, не сож-

жет! Его можно достать, — стоит только взобраться на горку.

На горке солнце от меня убегало...

Я гонялся за солнцем, а домашние мои — за мной. Меня поймали все-таки скорее.

За березовым лесом — пашня.

— Садись-ка лучше на клячу дядькину... Боронить будешь! — сурово говорит отец.

И взгромождает меня на настоящего, всамделишного конягу, запряженного в борону.

Тут, за садом, за березовой зеленой рощей — целая ватага мужиков с жилистыми конягами, с плугами и боронами, будто цыгане в таборе. Сеют ярь.

Сеет и отец.

А я, в страхе, бороню вслед, верхом. Держусь за конякину гриву клещуком, не шевелюсь... Нечаянно загляделся на грачей. Они тут же у борозд расхаживают важно.

И вдруг, заглядясь — кувырк сверху — сторчь головой.

В тревоге подбегает отец:

— Сверзился-таки, шило? Это тебе не за солнцем гоняться да баклуши бить!.. Подхватывайсь! Живо!.. Садись на коня!

Зафардыбачил я тут:

— Не сяду! Ногу сломал!

— Без разговоров! Ежели кто лодырь — у него ноги завсегда сломаны. А ты не будь таким, а будь — как коняка.

— Хай она сдохнет, эта дядькина коняка! Не хочу скородить!.. — отрезал я.

Подхватился и на «сломанной» ноге — деркача от отца: опять за солнцем.

— Постой, эй!.. Куда?!.

Тут уже за мной погнались доброхоты-хлеборобы скопом. Отец, рассерженный теперь не на шутку, ждал меня где-то в лесу.

Ловили целой толпой до вечера. Я искал защиты у солнца. Но солнце спряталось за тучи. Доброхоты все-таки меня словили. И отлупили так, что я, между прочим и по этой причине, не забуду солнца до самой смерти: это оно меня подвело.

Сев кончили мужики к вечеру. Я — дома.

— Ну что, проехался на солнце? — раздается насмешливый голос из-за стола. Черноволосый дядько Петро пришел неизвестно откуда к нам в гости. — Хорош конь — солнце?

— Вовсе оно не конь, а жар-птица, — храбрюсь, а сам корчусь от обиды: — Завтра поймаю... от вас от всех удеру.

— А если опять тебя выпороть, — полетишь?

Молчу, обескураженный. У каганка отец, в слегка подстриженной окладистой бороде с проседью, в зачесанной набок, посеребренной скобке, чествует гостя тюрей. Со мной — строг и нежен. Как будто доволен моей лопотней. Но на всякий случай, чтоб не налопотал лишнего, схватывает меня за шиворот, взбрасывает на печку к ребятам — старшим братишкам.

За кривым хромоногим столом сидит гость — дядько Петро, черняк, с маленьким клочком волос у кадыка вместо бороды, с глазами на выкате: ни дать, ни взять, жук на воде; он хлебает из деревянной миски тюрю.

— Подрастет, возьму на линию... на Капказ... — подмигивая, пугает он меня. — А до

того пороть надо беспрерывно... — поучает он уже потом отца. — Глядеть надо за ребятами, чтоб байбаков не били... Жисть — чертовская штука.

Ребята замерли на печке, не дышат. А я, засыпая, вскакиваю на солнце, хватаюсь за огненную гриву, мчусь «на Капказ».

2. У бабы-яги

За околицей торчала на корчах полуразваленная хата бабы-яги, курный шалаш. По утрам над соломенной крышей вился кольцами дым, точно шалаш-курень горел. Но не сгорел. Сама баба-яга, Стёпчиха, носила из барского сада вязанки дров. Нашоптывала что-то, грозила костылем нам, ребятам.

Об этой бабе-яге рассказывала мне сказку в землянке родная моя бабушка, Васса, сама похожая немного на бабу-ягу. Только на руках у бабки Вассы — четки: беспрестанно она крестилась, шептала божественное, жаловалась на плохое житье какому-то своему святому.

— А баба-яга, Стёпчиха, — вишь ты, — враг рода человеческого: всех, кто к ней заходил, толкла она в железной ступе, — говорили мне.

Ясно: избушку бабы-яги надо разорить, а то и вовсе сжечь..

Недолго колеблясь, вооружаюсь солнечным шестом, попросту—палкой.

Вхожу в дверь: никого в хате. Баба-яга ушла по дрова в сад.

Тут я кричу грозно:

— А ну, баба-яга, костяная нога. Выходи!..

Начинаю действовать. Шестом крошу вдребезги — окна, божницу... «Как же так,— яга, костяная нога... и вдруг—божница?.. Ладно, не попадайся, не живи у врага рода человеческого, бог!»

Сражаюсь храбро: опрокидываю стол, топчу горшки ягины, чашки.

Потом с победоносным видом возвращаюсь домой.

Но — что это? У околицы толпа баб встречает меня отчаянным всплескиванием рук. Ахает сокрушенно толпа:

— Да што ж это он наделал, окаянный?.. В тюрьме ему теперь места мало! У Стёпчихи все окна повыбивал, хату разорил... Убить его мало за это!..

Это — вместо приветственных-то кликов храбрецу!..

Сразу же возненавидел глупых баб: для них же старался, а они — вот что!

... Назавтра — сходка на деревне. Потащили на сходку отца. Слышно, Стёпчиха требует от отца теленка (единственное, что у отца было из хозяйства) за то, что я повыбивал стёпчихины окна, стекла в иконах, потоптал горшки, чашки...

Теленок мычит бок о бок со мной, — здесь, в хате. Сочувствует мне. Я дрожу от страха.

А сходка за Стёпчиху...

Теленка ей отец отдал в тот же день.

Но, придя домой, вытащил меня из-под печки, куда я спрятался, и, зажав голову мою между валенок, на спине моей примерял деловито ремень, утешая:

— Стёпчиха снимет кожу с теленка... и

продаст кожу за три рубля... Ну, а я спущу кожу с этого ашары... (то есть с меня), хотя бы мне за нее и не дали ни копейки... Чтоб не повадно было разбойничать. Сдеру и собакам брошу.

... Содрал или нет — не помню! Я, кажется, удрал в лес. Решил заделаться там атаманом разбойников или серым волком, чтоб доканать ягу...

Ночью привела меня мать из лесу домой — ягненком.

Позолотела под солнцем рожь. Собралась яга зажинать.

Из-за темнозеленой дубравы катилось навстречу росам и василькам огненно-голубое утро. Здравствуй, лето красное!

Выходил в поле дед-привеpед, заламывал в колосьях залом:

Заломлю я залом
На двенадцать голов!
Хто будет без песни жать,
Тот будет лежать.
Хто будет без солнца косить,
Тот будет голосить...

По желтому полю, словно по золотой парче, разбредались с песнями жницы. Пучки колосьев взлетали уже над белыми платочками, будто златоперые крылья. А в постатях вырастали стройной вереницей снопы. Шла жатва.

И мы семьей вышли в поле — зажинать. Серпы горели на солнце, точно изогнутые копья. Бросались мы с ними в высокую рожь, будто в бой.

Перед битвой этой старшие братишки ухитрились выбрать лучшие серпы. Мне же достался

серп — в полроста. Не успевал я за старшими: они — по два снопа нажинают за какой-нибудь час, а я — по одному. Как сравняться с ними в работе? Засмеют, забранят!

Орудую серпом, точно шашкой. Рву колосья с корнем. Гонюсь...

Хвать, а на левой кисти руки хлещет кровь. Мизинца, кажется, нет: болтается что-то красное на недорезанной жиле... Отрезал, значит, серпом! Реву угрюмо:

— Палец отпорсачил!

Мать останавливает кровь серпорезом (целебной травой), перевязывает платком кисть руки. И, наградив подзатыльником, отбирает у меня серп. Я собираю оброненные колосья. Снопами не удалось мне догнать старших. Без песни жать, — эх, значит, лежать! Накликала беду с дедом-привередом глупая яга.

А есть еще у меня радость — лето красное с синими васильками.

3. Сруб

Не знаю почему, но у нас не было хаты: разделился отец с братом старшим — с дядькой Андреем, что ли, и оказался без хаты. Но хату отец рубил — долго что-то рубил (избушку на курьих ножках). И вот...

Стояло жаркое лето, — домашние разбрелись. Никто не видел, как я взобрался на верх сруба, на самую макушку (мне было шесть лет). Там я уселся на верхнем стропиле и, свесив ноги, мерил глазами край пропасти.

Раздался тревожный крик снизу: отец и мать с ужасом заметили меня на верху сруба, — ма-

шут руками, подают мне знаки, чтобы я не шевелился: внизу подо мной бревна, кирпичи...

Отец подставляет лестницу, лезет по стропилам, тянется ко мне... А я кричу храбро:

— Ни капельки не страшно...

— Не кричи, упадешь...

Отец, вижу, дрожит. Я все так же кричу, но уже не из боязни упасть, а от предчувствия лупцовки.

И досталось же мне тут. На этот раз — от матери.

Больше я на сруб не лазил, понятно. Но я не удержался от удовольствия вновь испытать край пропасти. Смостил я себе помост на макушке большой рябины в гаю, да там, на этом помосте, и пропадал по целым дням...

Тщетно меня расспрашивали, где я пропадаю: я не открывал своей тайны. А когда все-таки нашли меня на рябине, спящим, — я не хотел возвращаться на землю с своего зеленого трона; хата не была достроена, а в землянке-яме я не хотел жить.

... Выхожу как-то за село летней ночью. Вижу: над лесом на закате маячит огненный крест.

Со мной — старший братишка, Степан. Мы должны были разыскать забредшую дядькину хромоногую кобылу Пчелку.

Горит заря. Братишка дергает меня за полу рубашки, тормошит, а я гляжу, словно завороженный, на огненный крест. Долго маячит крест, наклоненный над лесом... И вдруг, срываясь, падает за лес...

Кричу, указывая на крест, братишке:

— Видишь, или ослеп... крыло огненное... крест?!.

Тот испуганно, озадаченный, отвечает:

— Никакого крыла нету. Приблисталось тебе. Идем домой.

Так это меня поразило тогда: значит, не все видят то, что вижу я?

Бабка Васса, родная по матери, начетчица с четками, немного похожая на ягу, любимая бабушка моя, когда я рассказал ей об огненном кресте, всплеснула руками в ужасе:

— Да это знаменье... Ох и трудно ж тебе будет на свете жить, деточка.

Плакала и ужасалась:

— Всем нам трудно будет, несчастные мы... Невинному открылось... Што-то будет... Пожар, либо што!..

И долго рассказывала старушка о кресте по селу. Узнали об этом: и поп Иван, хорохор, забияка, лысый, с белым остатком косички на затылке, и дьячок Андрей Константинович (звали его «Котятиныч»), черноусый чахоточный грамотей, пьяница и песенник. Дьячок успокаивал бабушку, да и меня, гладя по вихрам:

— Это—галло, миляги — от солнца... Астрономия доказала... Очень часто даже огненные кресты появляются. К буре это...

Полюбил с тех пор меня песенник-дьячок.

Как-то, в торжественную службу, на троицын день, потащился я в церковь — на клирос. Прицепил там к моей посконной рубашке дьячок часы свои, выставил все это на удивленье дураков-прихожан. Церковь — единоверческо-старо-

обрядческая, ветхая, похожая на флигель, — теснота, давка.

Дьячок поцеловал меня в макушку. Но строго-настрого приказал: стоять смирно и не оглядываться по сторонам, не шевелиться.

В церкви — служба, поп что-то бормочет, вроде «оглашенные, изыдите». Потом — тишина. Я недоумеваю: поп кричит, а я что ж торчу остолопом? Оглядываться нельзя, но кричать — обязательно надо. Затем ведь и привели меня сюда.

И я — как гаркну вдруг — на всю церковь, повернув голову к толпе:

— Глашенные, убирайтесь к чорту! (Оглашенные я понимал как сумасшедшие.)

Пропала тишина. Шум, гам в церкви, давка. Дураки ревут; в смятении дьячок зажимает мне рот; поп в ризе бежит из алтаря, ищет виновника неслыханного кощунства...

Катавасия... С гиком, с проклятьями выпроваживают меня из церкви вон. Так я и не понял тогда, из-за чего набросилась на меня, мальчонку, толпа.

После обедни дьячок гонялся за мной по лугу, а поймав, похлопал меня по плечу и вихрам, добродушно подзатыльниками наградил:

— Хо, из тебя, хлопче, выйдет толк!.. Не влетело тебе за твое гала-представление от батьки?.. Хо, не робь!.. А крест огненный — это галло... Никакого чуда тут нет... Астрономия, наука... Не поймешь ты, хлопче...

Эка невидаль — жизнь!

Жил я сам — не тужил. Был у меня маленький приятель-сверстник из соседской хаты, Роман Лысков. Разоряли мы с ним воробьев,

бомбардировали комками прохожих баб, девок, дразнили старух. А чуть что, — улепетывали на своих на двоих в лес.

Бабушка Васса нашамкала нам что-то про пророков Елисея да Илью, — это к тому, чтобы мы не смеялись над старшими. За насмешку над Елисеем («лысый, лысый») съели волки, дескать, сорок сорванцов-мальчиков. Так и нас съедят! В лесу как раз волки живут. Попутно бабушка рассказала нам историю с огненными конями Ильи-громовника. На этих конях укатил Илья живым на небо. Ну, и правит оттуда грозами. Знай, расскатывается на огненной своей колеснице. А тех, кто его не слушается — убивает громом. Не спрячешься и на печке. Вот о чем поведала бабка Васса.

Плохо дело. В лесу — волки, на печке — гром...

Ладно, нам не до этого. Нам только бы прокатиться на огненных конях — вот это так так! Перешибить Илью-громовника!

— Хочешь быть Елисеем?.. — предлагаю Роману. — А я — Илья буду громовник... Прокачу тебя за первый сорт... на огненной колеснице. Зараз и двинем, а?..

— Гы... — скалит зубы Роман. — Голову не сломаешь?..

— Эка невидаль — голова!

— Коли так — попробуем...

— Прокатимся, значит! Прямо из шалаша — на небо. Авось, перешибем Илью!..

— Прокатимся. Гы... боязно только... Вали!

Сказано —сделано. Захватываем спички. Пробираемся в шалаш помещичьего сада. Раскладываем костер...

Заребели, заплясали огненные кони, подхватили шалаш-колесницу, понесли к облакам. От огненного урагана Елисей-Роман бежит в страхе прочь. А я, громовник-Илья, рвусь в огонь. В небо. Но вот незадача — оба мы остались, как раки на мели, — на окаянной земле. А тут, на земле, ох, как здорово лупят проклятые эти старшие! Лупили нас два дня подряд. Нам — не привыкать стать. Да и то сказать: поделом лупили; об этом мы догадались уже потом, когда погибло в огне полдеревни, а главное, — наш новый сруб.

4. Новый пожар

Это было на другой год моего солнца.

Едва, отстроив весной избу, ушел отец на заработки в Одессу, как подожгли в полночь нашу деревушку. (Какие-то поджигатели-бродяги ходили будто бы и жгли тайком села, зачем — неизвестно.)

Помню: ночь, вихрь огня и дыма... Полураздетая толпа сумасшедших баб и мужиков мечется по улице, хватает в охапки какие-то дровишки, относит к реке как драгоценность. А одежда и утварь горит тут же на глазах... И никто этого не видит... Визг, рев скота смешивается с ревом огня... Поднялась буря.

Мать и старший братишка, вопя, тащат нас, меньших, через реку... Окунаются с головами сами, нас окунают, — все в немоте смертной. Я захлебываюсь... Вода будто горит... Я задыхаюсь, проваливаюсь в какую-то бездонную черную яму... Теряю сознание.

... Открываю глаза: меня качают в дерюге мужики. Изо рта, точно из ведра, льется вода пополам с сукровицей, в голове — пожар, гул... в глазах огненные круги...

Ночь еще не прошла.

Но все-таки я пялю глаза на огонь. Уже ниже он, над селом... Вдалеке вспыхивает будто новый пожар: это заря.

Сожрал огонь все до тла: и что было, сгорело, и чего не было, сгорело; выли днями погорельцы над пепелищем.

А мать молчала. Так промолчала целый год. Почему-то она не успела застраховать новую свою избушку на курьих ножках (скорее всего, нечем было заплатить). Ей не выдали страховку, как соседям. Она этого не понимала и не могла примириться с тем, что больше не придется строить хату.

Мы опять переселились в землянку, только без барахла, и уже надолго, навсегда.

До самой смерти мать не могла забыть этого пожара (был и еще пожар — об этом потом). Все твердила о хате, о страховке... Страховка-то вся — в полсотню, но матери мерещилось, что от этого зависела жизнь и ее и всех нас.

А бабушка Васса, указывая на меня пальцем бабам, как на чудище, ужасалась безмерно:

— Глядите, глядите... крест... огненный... приблистался ему... К пожару... Вот и случился пожар... Ох ты, внучек... Страшно... Слышьте... Беззаконники мы!.. Не увидеть нам светлого рая... Гибель!

Как будто я во всем был виноват.

5. Котятиныч

После пожара вся деревушка поселилась в землянках, в надречном юру...

А рядом, на холмах, непонятная праздная жизнь цвела... Там, в роскошных домах (их было три), окруженных садами-парками, с фонтанами и гротами, в вековых заповедных рощах жили б а р е. Туда ходил только поп Иван с дочкой Антониной да попадьей: за подачками. Дьячкова нога в хоромы барские не ступала. Дьячок проклинал бар, кивал в сторону хором остервенело:

— Дармоедчина чортова, паразиты! Сгорела деревня, так они и не охнули, как будто их это не касается... Зовут меня, думают, пойду к ним обезьянничать? Сдохну, а не пойду... потому — горд и честен! А они потеряли честь... Погибнут они, как хмарные мухи, попомни мое слово... потому — голодного не накормили, нагого не одели... мракобесы!

И молодой дьячок бил себя в грудь гордо:

— Я — за свободу! За бедноту.

И шел в гости к беднякам в землянки. Да он и сам ютился в землянке «единоверец», а стало быть, опальный у начальства.

Особенно зачастил Котятиныч к Миколаю — моему двоюродному брату, разудалому парню, плотнику.

— Кай Тарасыч! Друг!.. — изливался он в чувствах.

Угощался и угощал всех на последние гроши.

Мне он носил карандаши цветные, бумагу. Учил малевать. И я малевал страшные какие-то, непонятные мне самому рожи. Дьячок, глядя на них, хохотал до упаду.

— Купил бы тебе красок, да... нет денег,— сокрушался он.

В пику барам, а отчасти и из-за нищеты своей махнул дьячок-песенник работать к мужикам. Отпустил бороду, достал топор, пилу, затесался плотником. Помогал ему на первых порах двоюродный брат мой Миколай — «Кай Тарасыч». У них заколотилась дружба. Работали вместе, артелью. Но больше всего они — пьянствовали.

Пил Котятиныч запоем. Удивительные задушевные песни пел... Под церковные колокола плясал «камаринского». С пьяных глаз стрелял из старой флинты в рождественскую звезду... Пугал меня вывороченным своим тулупчиком, с рукавами, приставленными к голове в виде чортовых рогов. Но добрейшей души был человек.

... Мне он как-то сказал с грустью:

— Жаль, хлопче, догораю я, как лучина... Не подрастешь ты, чтоб грамоте тебя обучить... Как умру, вспоминай мои песни. Мал ты еще, впрочем, — ни бе, ни ме... А где же брат Миколка?

Оба они запевали тут же любимую свою «Ноченьку темную, осеннюю», исходя в ней страстью.

Потом шли на работу, таща и меня за собой. Вечерами гуляли, пили вместе в корчме, грустили, ссорились... Опять мирились.

Плясали сами и меня заставляли плясать. Раз эдак разошелся я в пляске, да—бух в яму! Расквасил себе нос.

Котятиныч лечил меня тут же булкой и водкой. Но при этом почему-то твердил упрямо:

— Ерунда — леченье. Не лечить хлопца надо, а еще разок встряхнуть кровопусканьем. Крепче будет. В чортовой жизни это пригодится карапузу...

... Подметил я: не спроста дружил Котятиныч с Миколаем. Что-то таилось между ними. Часто, упав к Миколаю на грудь, вздыхал дьячок-песенник тяжело, сокрушался:

— Пойми, дубина ты, друх, я не перенесу этого!.. Нельзя терять и одного дня... Умру я скоро, сдохну, а напоследок докажу попу долгогривому. А ты помоги, друх...

— Это — все в наших руках... — форсовито пятил грудь Миколай. — Я сказал, помогу, ну и конец. За почтарем дело не станет. С бубенцами двинем, побей бог!..

Прошло лето красное, наступило бабье лето. Ясная осень. И вот друзья — остепенились. Миколай исчез куда-то в соседнее село на работу. Дьячок, притихнув, отдыхал в своей хибарке. Изредка только катал на пруду, в барской лодке, поповну, как заправский кавалер.

Потом и он исчез куда-то. С неделю я его не видел.

Как вдруг — по селу разнеслась весть: Котятиныч украл попову дочку Антониду!

Оказалось: Котятиныч целый год уже «крутил любовь» с поповной, жеманной, пухлолицей девицей. А поп и слышать не хотел о свадьбе дочери с песенником: гнал их обоих с глаз.

Сам поп Иван (тоже из единоверцев-старообрядцев) так же на обухе горох молотил, жил в простой избе, часто работал в поле. Пил не меньше, а может быть и больше дьячка. Плясал

под колокола не хуже его. Гонялся за попадьей и дочкой с костылем. Словом, поп хоть куда, а — дать дочке волю — стоп.

Тут-то и подоспел с почтарем Миколай. Ночью выкрали они из поповского жилья Антониду, да— в монастырь. Там песенник с поповной и обвенчались. (А может, и без венчанья дело обошлось, кто знает!)

Поп Иван, узнав об этом, выл два дня. Потом запил. Потом побежал жаловаться по начальству; начальство только смеялось над «единоверцем» попом.

А Котятиныч торжествовал.

Долго не унимался поп... И тогда дьячок-зять с другом Миколаем, поймав батю где-то в притворе, отдубасили его за первый сорт. Тем все и кончилось.

Но скоро кончилась и жизнь песенника.

6. Мои художества

Громом поразила меня смерть заступника-друга Котятиныча. От горя я чуть не заболел сам...

С отчаянья раскладываю цветные свои карандаши на лавке, бумагу. Мусолю карандаш. Малюю что-то под тяжкие вздохи об утраченном друге. В бороде и при часах — вот он.

Отец, незаметно взглянув из-за моего плеча, роняет вдруг ласково:

— Ага... Ишь ты, малюешь... На кого бишь это смахивает? Борода... часы с цепочкой.

— Да это покойник...Андрей Костянтиныч!— поясняю угрюмо.

Миколай, скаля зубы, тут же:

— Молодец... Художником будешь...

Мне казалось, что быть художником, это значит — быть худым. Я бросил малевать открыто. Принялся проделывать это украдкой. Но — где малевать и с кого?..

Тут мне ударило в голову: в церкви. Картин с образинами чертей, с ликами святых там — сколько хочешь, хоть отбавляй. А мешать, ежели на день остаться, некому.

В ближайший же праздник я спрятался в притворе за лестницей. И когда кончилась служба, остался в церкви. Один...

Но я забыл, что церковь запирается не до вечерни, а до следующего воскресенья. Меня заперли на целую неделю. Об этом я догадался только перед вечером, когда вдоволь намалевался у икон. А вечерни так и не дождался.

Заревел я телятей: окна — зарешетены, с колокольни — не спрыгнуть... Каюк. Подохну с голоду.

Взбираюсь по лестнице на колокольню, в отчаянии хватаюсь за веревку, бью в самый большой колокол.

— Звон!.. — кричат бабы где-то на селе...— Набат!

Потом, поодиночке и кучами бегут к церкви.

Кто-то, кажется, Миколай, зовет меня. Кричит, грозя кулаком:

— Запорю, ирод!.. Слазь — кожу спущу! Все село переполошил набатом. С ума спятил?..

— Дыть, церква заперта... — реву я с колокольни, бросив уже звонить. — Ключ достань! Ключ...

Откуда-то поп Иван сам уже мчался с костылем и ключами к ограде.

Торжественно, всем скопом, сняли меня земляки с колокольни. И тут же, на паперти, выпороли. А отобранные карандаши и малюнки передали попу.

— Зачем ты остался в церкви? Что ты тут делал, анафема? — топотал надо мной поп, потрясая моими малюнками.

— Святых малевал...

— Да это похоже больше на чертей, а не на святых, анафема!

— А чорт его знает, на что это похоже!

7. Ярмо

Отец сказал мне как-то:

— Лошонок на втором году тянет борону, по третьему — плуг. А тебе, сынок, уже седьмой.... Пора браться за работу.

— Мне бы карандашей... Я б малевал... — робко подымал я глаза.

— Кому карандаши да малюнки, а нам — ярмо... — вздохнул отец грустно: — земли нет, а ртов — сам-семь.

Меня определили в батрачата.

Целое лето пришлось тюжить у хозяина. И если бы не песня солнца, едва ли бы вынес тяготу... Солнце и звезды были единственной моей радостью, когда я семилетним ребенком изнемогал от непосильного труда. Казалось, днем без солнца я не могу работать, ночью без звезд не могу бодрствовать (а надо было бодрствовать — стеречь лошадей в ночном)...

Хозяин — крепкий, востроносый, белобородый дед с хитринкой — Проша подхваливает меня. А я стараюсь, из кожи лезу: работаю.

— Во молодец! — накачивает дед, — за взрослыми поспевает. Золото, а не хлопец!..

Скоро я догадался, зачем дед хвалит меня. Я перестал лезть из кожи, но честно тянул ярмо.

За целое лето моей работы хозяин-дед в награду заплатил мне три рубля, похвалив при этом и меня и себя:

— Хоть и договаривался с отцом держать тебя из-за харчей, да... Но ты — работяга, дарю трешку тебе... Другой бы какой кровососхозяин не дал, потому уговор — лучше денег... А я — даю, вот... Молодец, хвалю за работу!

Как святыню, зажал я в ладонь первую заработанную горбом трешку. Отнес матери.

Кости у меня трещали...

— Это от роста трещат косточки, сыночек...— утешала бедная мать.

А сама плакала.

... Проходил по деревушке бродяга-путник, немолчный старичишка, высокий и костлявый, в засаленной скуфейке на голове, в зипуне «костылем». Из города забрел к нам в землянку будто нечаянно.

Старухи и старики бросились было навстречу путнику за гаданьем. Но он отмахивался от них, как от мух:

— Глупость — гаданье. Без гаданьев вижу — жрать вам нечего, нищета на нищете... Всю Расею прошел я, в Туретчине был, а такой, как

у вас, голи — не видывал... Пожар, говорите? А голым пожар не страшен. Эх вы, суслики! Залезли в норы, забыли про бел-свет. Выходи на простор! А!..

— А куда ж нам? — недоумевали старики.

— В город — вот куда! Бросайте дурацкие ваши полоски. В городе работа найдется. Там — жисть, а тут — смерть...

Старики отмалчивались.

Я крикнул бродяге с печки:

— Из города, дед? Хочу в город! Там тятька работает.

Но бродяга сразу вдруг притих, перестал хохотать.

— Это я пошутил... — забормотал он виновато: — Ась?

А потом изрек загадочно:

— То, что мы принимаем за жизнь, — есть смерть. А что принимаем за смерть, — есть жисть... В городе ли, в деревне ли — берегись смерти — соблазна!

— Лучше б... смерть! — ободрились вдруг старики.

— А город-град?.. Грядет!..

— Куды нам!

Путник неожиданно заторопился к выходу. Поманил меня пальцем к себе с печки, попросил ласково:

— Проводи от собак... Самим жрать нечего, а собак держут — лютых... Темнота. Идем, малец. Глушь тут... скоро — конец ей... всему скоро конец!..

Мы вышли за околицу. Старичишка-бродяга, прощаясь со мной, заулыбался задорно-ехидно:

— В город-град, говоришь, хочешь? Мал еще... А может, пришлю тебе письмо по почте... Как знать? Может, и возьму с собой...

И ушел вдаль—один.

8. Город (воображаемый)

Забредил я городом... Слыхал я про город и раньше: туда ездили мужики—соседи. Далеко до него. А видеть — не видел (уездный, бают, какой-то городишка). Но он мне грезился тем раем, о котором часто твердила бабка Васса.

А деревушка наша — глушь, впрямь. Школы нет и в помине. А что такое почта? Старичишка обещал что-то по почте прислать... (В ту пору я еще не понимал слова «почта»; думал, что это означает нечто вроде почтенья: не до почтенья тогда было.) И что такое город?

Дядька Андрей рассказал мне про город: это — каменные дома выше церкви, мощеные камнем улицы, каменные трубы выше домов, заводы, фабрики, грохот, дым...

Сам дядька Андрей прожил там десять лет — сапожничал. А к старости все-таки вернулся в деревню: потянуло к родным гнилушкам... А тут еще ногу вывихнул.

Этот дядька — точно волшебник. Маленький, хромой. Бородка — точь-в-точь у Николая-угодника. Лет за семьдесят, но работал. С одной только здоровой ногой (другая — хромая). Наравне с молодыми тянул ярмо. Пахал на Пчелке чужую землю, косил, молотил... Мне всегда страшно было следить за тем, как он работает: того и гляди, переломится пополам...

— Расскажи, дяденька, про город!..

И рассказывал. В молодости — при крепостном праве — обретался в бегах. Скрывался от помещичьего ярма. Бежали они, избив перед тем своего помещика, в Новороссию вместе с братом моего деда Родиона — Иваном. Иван — грамотный, смекалистый — сразу же на иностранном пароходе в чужие края удрал. Может, в Америку? А он, Андрейко, — неграмотный. Пришлось по русским городам бродить, горе мыкать...

И еще рассказывал дяденька Андрей: когда выучился в Одессе он сапожному ремеслу, загулял напропалую. По полтиннику в море бросал — знай наших! А как вышла воля, захотелось родные края отведать, могилы отца-матери...

Ногу загубил — в борьбе: о камень зашиб. Эх, хоть бы глазком взглянуть теперь на город... Недаром поется в песне:

В городе Адесте
На прекрасном месте...

Но охромел, одряхлел дядько Андрей: не увидеть ему больше города.

Миколай бросил пахать чужую землю:

— Будь она трижды проклята!..

И ушел на сторону, в город — плотничать. Остался дядя Андрей один (Миколай — племянник — у него заместо сына: своих детей у дяди не было).

Этот «город тож» — посад монастырский. Миколай строил там дома.

Как-то пришел он домой проведать дядьку, а я с ревом к нему:

— Своди в город, Миколай!.. Ой, своди, в ноги поклонюсь...

— А в колокол там не будешь бухать?

— Не буду...

— Ну, гляди ж... Под троицу пойдем.

И двинулись.

Два дня глазел я на высоченные башни монастыря, на купола, бродил по соборам, слушал монастырское пенье, колокольный звон. Кругом только и разговору, что про подвижников—святых.

... Ну, и возжаждал сделаться святым, подвижником.

Начну и я творить чудеса. Буду не простым, а великим чудотворцем, по одному слову которого исцелились бы все до одного слепые и страждущие. Исчезли бы с лица земли все несчастья, пожары... Сгинула б смерть...

Но подвижником сделаться не удалось. Прежде всего потому, что пришлось вернуться из города-монастыря: надо было батрачить у востробородого деда, у Проши, который надавал мне подзатыльников за прогул и снова приковал к ярму.

И еще это — самое главное — то, что я... был влюблен в соседскую девчонку — оборвыша-Мотьку, задиру и разбойнягу.

Влюбленный, слагал малопонятные песни. Их распевали потом на деревне девчата, дразня меня ими...

«Возлюбленная» моя была старше меня на три года. Страшно ругалась и часто лупила нас, маленьких ребят.

Она «изменила» мне: поцеловала другого, а меня так и не поцеловала ни разу. Я проклял ее.

9. Звездный путь

И еще одна весна...

Черняк, дядько Петро, мне:

— Ага, похудал?.. Это тебе не на солнце верхом кататься... Тяни лямку, баклушник...

Он собирался с отцом и земляками вдаль, на юг, в город — плотничать.

Оба они ушли, чуть пригрело солнце, через Сумы в Харьков.

Каждую весну теперь они уходили в город. К зиме возвращались домой.

Я бредил городом попрежнему. Отец иногда рассказывал о теплом неведомом крае с большими городами, с дешевым хлебом, с синим морем...

И когда я спрашивал его о теплой стороне, он всегда указывал на полуденное солнце, а ночью — на широкую звездную дорогу, что струилась поперек неба широким белым потоком огненных искр...

И вот, бросив Прохора-хозяина, востроносого деда, убежал я с ночного на рассвете... Туда, в город, неизвестно куда.

Добрел до Сум в два дня.

Забредаю на постоялый. Шатаясь от голода, плутаю по двору. Из окошка чайной слышу крик:

— Это ты, Тимон?.. (Тимон — так меня звал дядько Петро.)

Оглядываюсь, вижу: он — черняк. Люто воззрился на меня...

А потом, сменив гнев на милость, подзатыльником вбросил меня в чайнушку (раз — чай, значит, гнев сменен на милость).

Из Сум через Харьков двинулись мы с дядькой

на Дон. Отец ушел раньше на Одессу, с земляками. А дядько Петро остался в Харькове.

— Бруски будешь подтаскивать... пилить помогать, стругать рубанком... — определял дядько дорогою мою будущую работу.

Шли в маете. Днем вело нас солнце, ночью — звездная дорога.

...Теперь у меня такое впечатление, что, по крайней мере до двадцати лет, я ничего не видел. Ни Харькова, ни вообще города...

А ведь было это: города и страны, степи и люди, горы и реки, станицы, небо юга... Но то, чем я когда-то жил и что пленяло меня изо дня в день, из дороги в дорогу сплошной красотой, сплошным восторгом,—светлое мое детство, далекая жизнь городов, — все это теперь мне вспоминается, точно сон: ничего этого не было. И Харькова?

В Харькове мы остановились ночью. На постоялом. Работы так и не нашел дядько. Понапрасну ноги мы били по Харькову. Безработица. А меня это не занимало. Я больше драл голову на дома с башнями, на электрические луны (электрические — это мне растолковал дядя, но я ничего из этого не понял, только видел, что электрические луны светлее настоящей). И еще замечал я по утрам: вереницы нарядных мальчиков, девочек в коротких платьях куда-то бегут с книжками... знают свою дорогу. А я — торчу у ворот, босой и без шапки, остолоп остолопом. Не знаю, куда итти...

И вот я двинул... По людным грохотным улицам — искать свою дорогу... Назад к дядьке — дудки, не вернусь: решено.

Долго ли, коротко ли — бродил. Очутился в участке.

— Откуда? Чей, сволочь?.. — тормошили меня городовые.

— Оттуда... — протягивал я руку в пространство.

— Из деревни?

— Да. На постоялом теперь. У Рыбного рынка (проязычился, дубина).

— Какой губернии?

— Што?

— Из какой губернии припер?

— А почем я знаю? На постоялом.

— Звать, гнида, тебя как?

— Тимон...

— Фамилия?

— Карпо.

— А кто у тебя на постоялом?

— Дядько Петро. Черный сам.

— У-у, крапивное семя... Возись теперь с твоим дядькой, ищи, где были свищи... У Рыбного рынка, говоришь?

Нашли все-таки. Тут же в участке дядька меня и отходил выступками по подбочью. Помогали ему городовые.

Свою дорогу я не отыскал. Пришлось брести чужою...

...И все же помню: за один месяц своего бродяжничества детского по Харькову я вырос на целую голову.

Какое богатство новых слов, дум, планов! А самый город огненно-каменный очаровал меня.

Тысячи лун, цветов огненных на стальных стеблях. Глазища домов, башен... Толпы людей... Рев гудков. Грохот трамваев...

10. В шахте

За Харьковым пролегал на юг широкий шлях. Зашагали мы по нему с утра — в Луганск. Нас уводил туда новый дядькин знакомый, Евлан, искатель «золотого дна».

Это был бородатый, черный от угольной пыли, точно трубочист, шахтер-проводник.

— Не робь, паренек! — подбадривал он меня по дороге: — Хо! Погонщиком коняки будешь — шахтером, значит, заделаешься. Шахта — золотое дно. Полезешь в шахту?

— Полезу, — отвечал я, сплевывая.

Сплевывал я уже, как заправский шахтер, хотя и не знал еще, что такое шахта.

— А дядьку забойщиком сделаем, — продолжал Евлан. — Деньгу зашибем — во! Я в шахте десять лет копаю уголь... А как затоскую — пру в Харьков — кутить... Знай наших!.. Нипочем и обвал.

Как бы в доказательство, затягивал тут Евлан лихо:

Шахтер кутит по ночам,
Не сдается богачам,
Косы в руки не берет:
Под землей забой идет.
Эх, а если прозевал —
Засыпайся под обвал!

— А что это: обвал? — спрашиваю.

— Ежели обвал — тогда капут! — отвечает Евлан.

Вот те и золотое дно! Откуда его принесла нелегкая? Угодишь под обвал — поминай, как звали!

С Евланом столкнулся дядька Петро в трак-

тире. Завели спор насчет того, кому и где лучше живется. Кончили тем, что вместе двинули к углекопам: лучшей жизни, должно быть, и нет на свете. А так как в Луганске Евлан знал все «на три версты под землей», то дядько мой и держался теперь за него, как вошь за кожух.

Пускай и обвал — лишь бы зашибить деньгу!

С грохотом и визгом опускались мы в железной бадье в шахту. Проваливались в тартарары.

Глядь, стоп: дно. Пещера не пещера, а «золотое дно». Только вместо золота — грязь.

Идем в темноте по проходу — лазу — почти ощупью. У Евлана на плечах кайло, за поясом — шахтерская лампочка. Здесь он заводило: за ним — целая ватага старых шахтеров. Любит величать себя Евлан штейгером, начальством. А дядько Петро всего только новичок — забойщик: кайло прижимает к груди, словно крест.

Проплутав по темному мокрому проходу, обставленному крепежными кряжами, попадаем в широкий провал. Кое-где из-за уступов вспыхивают хищные волчьи глаза шахтерок-лампочек: орудуют забойщики. Кругом — груды наломанных черных пластов, коробки-вагонетки с углем на рельсах. Тут же — вислоухая кляча с разбитыми ногами, в запряжке...

Кто-то подсовывает меня под морду клячи дружеским пинком. Кричит неожиданно дико.

— Эй, новенький! Бери вожжи! Гони!

Будто в табуне я загикал, погнал:

— Э-о-э-й!.. Берегись!

Толпа расступилась, шарахнулась в сторону. Допреж того дядько Петро, согнутый в три по-

гибели, пропал где-то в уступе-норе. Евлан загикал над забойщиками, будто над табуном. Работа закипела.

Я гнал с гиком и свистом по рельсам груженную углем упряжку к выходу — к бадье-клетке. А мне казалось, что упряжка проваливается куда-то в преисподнюю.

— Сколько, карапуз, зарабатываешь? — смеялись шахтеры.

— Чорта рытого заработаешь тут! — огрызнулся я с весом.

— А обвала не боишься?

— Чорт ли в нем, в обвале! — храбрился я все так же.

А у самого поджилки тряслись.

11. Обвал

Влип я в дело. От забоя грузчики подвозили уголь на санках, грузили в вагонетки, а я — знай, — гони вагонетки к подъемной машине. На зубах у меня хрустела угольная пыль, нос чернел, точно у трубочиста, да мне на все это — начхать!

Конь мой Сокол, теперь безответный друг мой, давно уже начихал на все. Для него важен был только рептух. И когда я подносил ему его, он благодарил меня поцелуем мягких лошадиных губ в макушку.

Оба мы изнемогали, задыхались под непосильным ярмом: мне приходилось подбирать оброненные глыбы угля. Заступиться за нас было некому.

То день, то ночь кружимся в лютой работе...

И вот однажды затосковал Сокол. Шумно и грустно вздыхая, жалуется он мне на лошадином своем языке о чем-то печальном и неотвратимом. Быть может, о близком конце?

А я молчу. Подавляю в сердце своем тревогу.

Вот-вот рухнет все кругом и похоронит всех под собой. Я слышал уже, казалось, грохот обвала, заглушенные стоны раздавленных... Надо было кого-то предупредить. Надо было действовать.

Тогда, заехав в самое сердце шахты, я вдруг останавливаю Сокола. А сам вдохновенно и беспричинно ору благим матом:

— Обва-ал!!. Спасайтесь!.. Убе-гай-те все-э!

Эхо вторит моему крику стократно. Сокол стоит, как вкопанный, прядет ушами. Из ближних забоев прибегают бородачи-шахтеры. Обступив меня, галдят свирепо и бестолково:

— Засть!.. Чего каркаешь, чертенок?

— Убе-га-й-т-е скоре-е!.. — продолжаю орать. — Сейчас все рухнет!..

Переполох. Быстрее замелькали лампочки, отовсюду шахтеры целыми кучами сбегались уже к сердцу шахты в тревоге и крике:

— Где?.. Што-о?!.

— Тут... — не унимаюсь: — об-ва-л!..

Никто мне не верит. Вот они и дядько Петро с Евланом. Подбежав ко мне, сшибает меня дядько кайлом с ног, шипит, что твой удав:

— Брешет, сволочь!.. Фокусничает!.. Бейте его в мою голову, землячки!..

Но как раз в этот-то миг вдруг и раздался протяжный немой гул, будто удар далекого грома. Прокатился сокрушительным эхом по закоулкам шахты.

Все онемело в гуле. Сокол задрожал, протянул ко мне старческие свои губы в слюне, как бы ища защиты. Со всех сторон бежали сломя голову, падая и опять подхватываясь, люди с лампочками, кричали одичало:

— Выхо-ди-и на ве-э-рх!.. Все-е... В забое — обва-ал!..

Толпа бросилась по коридору-лазу к выходу. Но оказалось, что выход-то и заперт обвалом.

Пробивались к выходу без сна, без сил который день. В шахте — сплошная ночь.

Толпа рабочих, заживо погребенных под землей, сразу же вгрызлась в страшную глыбу жалами кайл. Нора в проходе обваливалась. Но — странно: никто не думал о смерти. Пробраться к выходу — вот чем жили все теперь.

И спасенье пришло. Летучие отряды работали снаружи, откапывая нас день и ночь. И когда нас откопали, и мы, полуживые, поднялись наверх, все удивились безмерно!

12. Обновка

В конторе шахты дядько получил расчет — за себя и за меня: подальше от обвалов.

Идем дальше. Южный степной шлях. Полынь да бурьян, каменная баба при дороге...

За ними—спутники. Бредут также на Дон,— косари из Орловской губернии, бабники.

Мой дядя — черняк — вроде затворника: от баб бежит стремительно и беспокойно, как от чумы. «Много их тут, разных потаскух шляется по шляху», — говорит он.

И еще: постится дядько Петро. Может быть потому, что денег нехватает на харч. А точнее — дядько дрожит над копейкой, как чорт — это мнение косарей.

В сумке у него что-то хранится, да никто не знает, что. Толку от него не добиться: распевает себе под нос псалмы, насвистывает.

— Брось праведничать, Петра Иваныч... — дразнят его косари: — пойдем, проводим бабочек...

— У меня своя жена — молодайка, — летит суровый ответ. — Чужие бабы — проказа... Жисть — это вам не... кабак.

И в пояснение лился плавный рассказ по дороге: о праведном супружестве. Первая жена у дядьки умерла в первый же год свадьбы — от праведности, надо полагать. А вторая — крепкая молодайка — жива и здорова: ухватом действует как казак пикой. Бьет по горшкам, а то и по башке, кто подвернется.

Вторую свою жену дядя все же любил, должно быть, больше чем первую. Слишком часто вспоминал он об этой второй, отыскивая в ней разные достоинства.

Раз после такого разговора лезет дядько Петро вдруг в свою сумку. Извлекает оттуда какое-то барахло. Одно барахло — свежее и яркое — платок. Для жены. Показывает косарям-путникам. Другое — тусклую, засмоленную штанину, бросает мне:

— На, надевай. На рынке купил.

Немного поотстав, я рассматриваю обновку. Нахожу, что штанина — хуже моих посконных штанов.

Забрасываю обновку в придорожный бурь-

ян, — благо, передние меня не видят за разговорами.

А сам насвистываю беззаботно, шагая позади спутников.

Подходит ночь: обо мне забывают как будто.

Ночлег в степи. Переполох.

— Где обновка?.. — спохватывается дядько, увидев вдруг, что я в старых посконных штанах, а руки мои пусты.

— Чего?.. — удивляюсь я, как будто ничего не случилось.

— Обновку, говорю, куда дел, сволочь паршивая?..

— Ах, штанина... Где бишь это?..

— Потерял?.. Штаны...

— Угу.

— Да ведь я же целый двугривенный за них заплатил...

— Ну к што ж... Отработаю...

Косари-спутники подковыривают дядьку:

— Штаны племяннику — двугривенный?.. Тэк... А за жонкин платок сколько заплатил, Петра Ваныч?.. Рублик, чай? Любишь жонку-то, поди.

Промолчал тут дядько. Но, вижу, — совсем рассвирепел на меня. На ночлеге, в степи, под тополем, всю ночь пилил меня, долго и нудно. Глушил кулаком по голове, выл:

— Расточитель ты, кровопивец несчаст-ный!.. Терять одежу... Да этто — последнее дело... Хуже воровства. Где ты рос? В лесу, а пням — молился... Все вы такие, чертенята! Мать свою в гроб... уложили вы, ироды. Бате шею на аршин оттянули... Будешь у меня баклуши бить!

Почему не учишься грамоте?.. Я сам себя учил... Маленький? Учителя тебе? Нет, ты должон сам учиться — по людям добрым, по вывескам... В городе не будешь у меня ворон ловить. Подожди, я тебя проучу... Сказано: городской теленок понимает больше, чем деревенский ребенок... Я из тебя дурь выбью... Штаны потерял!..

И так до зари...

Я, действительно, потерял нечто: это — сон. И клок волос, что вырвал у меня дядько Петро.

18. А именно из-за любви

... Этак и совсем можно остаться без всего. Но за кем итти, как не за дядькой Петром? И я иду.

В Миллерово расстались мы с косарями: им — на верховье Дона, нам — на низовье. Дорога далека.

... Переправлялись через Дон в разлив. Под Цимлой, кажись, было дело.

Двойной паром. Путешественники, повозки, лошади, казаки... Дон бурен на стрежне, бескраен в залитых берегах.

Отдельно на пароме, у кормы — барская блескучая коляска. Отпряженного вороного держит под уздцы казак. Тут же — военный, грузный, седой, в шинели, с золотыми погонами. А в коляске — молодая барынька — грустная, заплаканная. Но и суровая. Лицо — под кисеей тонкой, да глаза-то, как огни из-под туч, из-под бровей. Закрутила она вдруг белокурой головкой, затрепетала в клетке-коляске. Кого-то молила шопотом, кого-то кляла.

— Перестань! — крикнул на нее седой военный.

Торчал он перед ней, как пень, облокотясь у ее ног о коляску, дымил ей в лицо трубкой. Старик. Гроза. Должно быть, генерал. Мало знал я тогда про генералов. Но соображал, что все генералы — седые да грозные, как этот старик.

Хлещут волны о борт. Дядько Петро крутит колеса с прочими, казаки кряхтят, правя рулем... А я не свожу глаз с барыньки. «Жена!» — вдруг догадываюсь, затаив дух.

Толпа в тревоге мечется у перил. Напрягаются весла-колеса, не опрокинулся бы паром. А я видел одно: генерал-старик несколько раз что-то приказывал жене, топал каблуком в шпоре, грозил... В ответ барынька только метала огни из-под туч — из-под бровей, шептала проклятья.

— Мол-чать!! — гаркнул вдруг седоус, хотя барынька и без того молчала, только беззвучно кляла.

И вдруг что-то сверкает на солнце: кинжал. Взмах — и барынька опрокидывается из коляски прямо в волны Дона.

— А-а-а... — голос барыньки обрывается.

Ахнула толпа.

— Зарезал! — кричу и я дико, карабкаясь у борта парома. Волны крутят барыньку... Точно снег белеет на миг что-то (платье?), потом все идет ко дну...

Лодка-душегубка, гик казаков-смельчаков, плач толпы, рев лошадей, вздыбленных у перил. И — неумолимые немые волны...

И — седоусый, свирепый военный, в шинели,

в фуражке с красным околышем, с кинжалом в руке.

Неподвижный. Безумие в расширенных диких глазах.

Казаки-смельчаки, покружив в душебугке над волнами, причаливают к парому ни с чем: барынька на дне.

— Это... вы ее саданули, ваше-ство? — осведомляются казаки у седоуса.

— Я, — хрипит тот.

— А именно за что? Из-за чево?..

— А именно из-за любви.

... Уже паром давно причалил к тому берегу. Седоуса-генерала куда-то повезли казаки в его же коляске.

А в толпе оголтелой долго еще перекликались веселыми голосами:

— А именно из-за чего?

— А именно из-за любви.

Мы молча двинулись с дядькой в казацкие хутора.

14. Акробат и купец

— Нашел работу, Тимон! — возвратясь на ночлег в сарай, обрадовал вдруг меня дядько Петро, потому что все эти дни был я печален — с голоду. — Задаток... Завтра же идем... балаган строить, и ты помогать будешь...

Это было в разгар лета в одной из станиц, на Салу. Готовилась ярмарка. За месяц до начала стучали на площади, вынесенной в степь, топоры, визжали пилы, росли балаганы, лавки, склады.

Дядько Петро орудовал над дощатым бала-

ганом — «театром». Помощник у дядьки — я, плохой помощник, сказать правду: мал еще. Но я носился у комедиантов на побегушках, кряхтел над земляной работой, носил мусор...

Не знаю как, — подружился со мною тут акробат «театра» по кличке «Козел». Прямой как палка, с острой бритой харей. Весельчак и заноза. Я ему помогал развешивать над входом размалеванных чертей. Сам Козел похож был на размалеванного чорта, но я его полюбил всем сердцем.

С жаром работали мы, в поту, в мозолях. Спали — только перед рассветом, на соломе из-под зверей, в вони звериного помета. Акробат называл это «благорастворением воздухов».

...Канун ярмарки, южная душная ночь. Отовсюду несутся веселые крики, песни пьяных, горят гирлянды огней.

— Завтра представленье? — осведомляюсь нетерпеливо у друга акробата.

— Это будет что-то сногсшибательное... —отвечает он.

Сам знаю, что будет нечто невиданное. Для этого я и облюбовал себе особую щелку в стене балагана. В эту щелку я беспрерывно буду лицезреть небывалое... Без денег кто же меня пустит в театр?

...Назавтра загремела ярмарка тысячью глоток.

В степи под майским солнцем южная ярмарка — пестра, многошумна, разгульна, точно половодье. И в центре — театр-балаган.

Вот он, Козел-акробат, в одежде чорта, вертится вьюном перед размалеванными чер-

тями на помосте. Пляшет плясун, будто на канате, зазывает зевак зычно:

— Заходи, публика, не жалей рублика... Забудь про небеса, в аду увидишь чудеса...

Перла публика, валом валила...

В первом ряду на первом месте восседал толстошеий чернобородый верзила в плисовой жилетке поверх малиновой рубахи, в лаковых сапогах бутылями — купец Корытников.

— Устрашайте купца Корытникова второй гильдии, черти паленые, сукины сыны!.. — грохотал он. — Душу намерен продать дьяволу, ада отведать... для похудения... Плачу пятерку — только устраши, чорт-обормот... вьюнош... Не боюсь.

Чтоб угодить купцу, устрашать кинулись все сразу. Мой друг акробат-вьюнош, держа в руках шест, заплясал по канату. Два старых комедианта ходили перед купцом на руках. Сам хозяин-немец тащит из зверинца змею-удава, засовывает живую удавью голову себе в рот...

Ничего не помогает. Купец кричит исступленно:

— Мало! Эка невидаль... с шестом... по канату... Ты без шеста спляши на канате, обормот! Тады я, может, испужаюсь. А голову удавью — чорт ли в ней? — откушу сам, потому — не боюсь... Ты так устраши, сукин сын, штоп я в панику впал... сразу штоп я похудел... сотню плачу! Вдаряй меня в панику!..

Тщетно лез, весь в поту, акробат-вьюнош по веревке под самый потолок, тщетно засовывал голову в петлю... Ничего не помогает.

— Ха! Разве от этого похудеешь?

Хозяин-немец отчаялся на последнее сред-

ство: достал из корыта, из воды, страшного крокодила, чтобы засунуть ему в пасть свою немецкую голову... Напрасно. Издевался купец, а в панику и не думал впадать. Выбегали полуголые комедиантки — в штанах и без штанов, — помахивали голыми ногами у самого купецкого носа, — да разве от этого мог похудеть купец Корытников?

— Хоп-ля!.. — визжали плясуньи.

— Я тебя ляпну, стерва!.. — обрушивается на них толстяк.

Все в ужасе.

Но... я выручаю всех.

Возненавидел я, из своей щелки глядя на все это, толстопуза.

Как я представлял себе тогда, «впасть в панику» — значило просто свалиться под лавку замертво. Мне жаль было: и моего друга, канатного плясуна, впавшего в седьмой пот, и хозяина-немца, норовящего всунуть голову в пасть зубастого крокодила, и оголенных комедианток, что подносили прелести свои к самому носу толстяка. Надо было всех выручать.

Сейчас этого окаянного брюхача уложу в панику. Сидит он тут же передо мной. Икает, матюкается, требует назад деньги:

— Обман!.. Надувательство, ик! Никакого ада, ни одного чорта. А мне доктор приказал... для похудения ада отведать... Где ад? — Одно жулье... Деньги обратно, мать вашу!..

Быстро разрываю я шов брезента, просовываю в дырку меж досок голову. Ору благоматным голосом над самым почти ухом купца:

— Пожар!!! Гори-им!!. Спа-са-й-тесь!!!

Вздрогнул, отшатнулся купец, как бы защищаясь от удара. Грохнулся оземь, впрямь.

С каната ж прямо на голову толстяку свербился плясун-акробат: сломал себе ребро плясун о башку купецкую.

Толпа заревела. Двинула к выходу, разнося в прах скамьи, подмостки, двери...

Кинулись меня искать по голосу за стеной. Хозяин-немец отыскал меня быстро. И, подняв за уши на пол-аршина от земли, понес за кулисы — лупить.

... Но меня выручил — кто бы мог подумать? Тот же купец-толстяк.

На площади перед балаганом он заревел вдруг, точно кабан под ножом. Все бросились туда. Помчался, забыв меня, и немец.

И вижу я из-за балагана: под гогот толпы купца Корытникова лупит безотдышно сгорбленная свирепая старуха, бьет костылем по плечам. При этом приговаривает басом:

— Не ходи на позорище, сукин сын, не потешай дьявола... Не срами нашу веру, древлее благочестие... Вот тебе, вот, пес!..

— Единственно для похудения!.. — ревел Корытников, подставляя то один, то другой бок под удары грушевого костыля. — Бейте меня, мамаша... Топчите меня ногами, православные! Позорьте... Доктор приказал. Авось, похудею...

Толпа грохотала громом.

А плясун-акробат, прихрамывая, строил уже купцу с подмостков длиннейший нос, да зазывал публику истошным воплем в театр, обещая показать собственное ребро, только что сломанное о башку купецкую.

— Так ему и надо, толстопузу... — надрывался Козел: — лупцуй его, бабка, чеши по лопаткам... Эх, заходи в театр, публика, не жалей рублика... Сыпь серебро, увидишь купецкое, тьфу, мое сломанное ребро...

И толпа валила валом в балаган.

15. Кавказ

Не знаю, почему это называлось «линией». Мы очутились на линии: Северный Кавказ. Военная линия, что ли, когда завоевали Кавказ? Не ведаю.

Зазимовали в станице Баталпашинской. Земляки приютили нас. Были эти земляки сами не то беглые, не то сосланные сюда, на Кавказ, из Курских степей за веру «изуверскую», что ли, а может, за бунт: неизвестно. «Сехтанты» — называл их дядько Петро. Жили они отдельно, на окраине городка — станицы. Иногда в горные аулы перебирались.

Меня больше всего тянуло в самый городок... Долины да горы Кавказа — давили. Я тосковал по родным степям.

Под весну остановились в небольшой какой-то станице, меж гор, в долу. Работали у зажиточных казаков, у земляков-«братцев»: чинили сараи, мастерили табуретки, столы.

Меня звал город.

Только когда расцвели сады и луга, обрадовал меня Кавказ. На горах — зима, а внизу — цветы.

Земляки души в нас не чаяли. Ихний «князь», как его называли, — безбровый желтолицый

мужик-силач, Прокопий, изо дня в день нам всё вдалбливал:

— Ребята вы, по всему видать, благочестивые... Оставайтесь с нами навек.

Но вскоре произошло нечто, что заставило нас бежать. Как-то рассказывал дядько Петро, сидя на «призбе» — на завалинке, — о праведности своего рода... И вот, вдруг слушатели-«братцы», придя, должно быть, в восторг от его рассказов о благочестии, бросаются ему в ноги с криком:

— Он наш!

— Вы наши!.. — кидались они уже и за мной, будто за драгоценностью...

Заметил что-то дядько Петро. Впал в беспокойство. По ночам укладывал меня спать на сеновале рядом с собой, чего раньше не было... При одном только шорохе окликивал неизвестно кого:

— Хто такой?.. Зачем?..

Ждали мы чего-то каждую ночь. И дождались: раз, на рассвете, врывается к нам на сеновал кучка «братцев» в белых одеяниях, с зажженными свечами в руках. Впереди — безбровый Прокопий-силач, «князь». В руках у него нож, на голове бумажный венец.

— Благословен грядый... Да сподобится брат наш священной печати царя Давида!

Братцы что-то поют скопом.

Видно, ждал этого дядько Петро. Но странно — вместо того чтоб приветствовать «братцев», он хватает полено, отмахиваясь им, кричит дико:

— Не подходите! Искрошу!..

Быстро хватает меня в охапку. Мы лезем оба

на крышу сарая через слуховое окно. Потом, спрыгнув с крыши, бежим в горы. Заря встречает нас взмахом золотых крыльев.

Вечером, усаживаясь тайком на крыше товарного вагона, признавался дядько Петро как бы сам себе:

— Дуррак... И чего я с ними валандался?.. Скопцы чортовы, сволочи паршивые! Печать царя Давида!.. К чорту! Вить это... срам...

И, обращаясь не то ко мне, не то к горам, бросал возмущенно:

— Ха... Они хотели вырезать... Да вить у меня жена молодайка!

16. Царицын... Мат...

Не бывать бы счастью, да несчастье помогло: из-за бегства я очутился в новом городе.

И еще открыли мы в скоропалительном этом бегстве: пешком ходят только дураки, глупо сбивать пятки, когда при сноровке да ловкости можно ездить по железной дороге: на крышах, под лавками вагонов, на буферах. Таким манером доехали мы до самого Царицына: вот этот новый город.

В Царицыне — Волга в разливе, бескрайное море...

— Красота, да и только! — восхищался дядько.

Здесь мы заделались грабарями: плотничий инструмент наш остался на Кавказе, у «братцев».

... Город готовился к какому-то празднеству... Среди рабочих часто слышалось:

— Мы им покажем, мать их, дождутся они!.. Коронация? Гм!

Тянулись эти празднества «коронации Николашки» три дня, — под всеобщую пьянку, матюги и мордобой.

По случаю матюгов вышел от начальства приказ: прекратить сквернословие немедленно.

Спьяна, останаливаясь на перекрестках под расклеенным приказом, чертыхались рабочие остервенело и вдохновенно.

— Черти, дураки... Как же это можно без мата прожить русскому человеку?..

— Да это все немецкие штучки, туды их... мать!..

— Царица — немка долговязая... мать не замать!

— Министры — немцы.

«Фараоны» ловили рабочих. Наловили целую толпу. Попался и я с дядькой.

Скоро толпу окружили конные казаки, нагайками погнали в бараки. Там — последнее угощенье: порка. В толпе вопль, стоны, мат сплошной.

Нам с дядькой влетело по первое число. Не помню уж, как вырвались из барака.

И — прямо на вокзал.

А на вокзале — мытарства, пытки, худшие, чем в бараке: сразу попасть на крышу вагона, да еще под облавой — это не фунт изюму...

... Попали все-таки... Может быть, помогла Волга-красавица, ободрила. Со станции, с горы маячила она в огнях пароходов, точно сон. Оттого, должно быть, я и заснул на крыше вагона.

... Колеса стучат, степи бегут. Спросонок мне

все чудится, будто это гонятся за нами казаки... Я их крою матом, судорожно падаю ниц, подхватываюсь и опять крою.

Мы вернулись домой, в родные края.

...На обратном пути я дал волю воспоминанию о любви моей царицынской. Ибо — клянусь, это было так — меня целовала там одна девчонка (в чайной, куда я ходил за кипятком для артели). В мимолетные наши встречи девушка-подросток (хозяйская дочка), с глазами жаркими, детски ласковыми и кроткими, говорила мне, дрожа в страстном шопоте:

— Мальчишка загорелый!.. Целуй, брось плакать! (Я хныкал.) Глазенки мои блескучие... Накажи бог, люблю!.. У-у-х-х-!..

Глаза ее меня ранили. Была она старше меня, сильнее. Я едва вырвался — бежал, обвариваясь кипятком. Девушка хохотала. И не знаю, что было жгучее: кипяток, глаза ее или ее хохот?

17. Жизнь и смерть

— Что такое жизнь? — говорит мой отец.

— Тьмяный, заканчивающийся смертью, — отвечает странник.

— А что такое смерть?

— Сущий, заканчивающийся жизнью.

— Почему?

— Потому. Тьмяный прельщает кубком-наслаждением тленное сердце... И называет это жизнью... Но на дне кубка — отрава... Смерть... разрушение... конец... Тлен и прах — наслаждение.

Все это — разговор, похожий на загадку, спор отца с бродягою-старичишкой, которого когда-то провожал я. Теперь он опять у нас, в землянке, как и я, прибредший из дальних странствий домой, в родную деревушку.

Меня треплет лихорадка. У лавки, у моего изголовья, еще кто-то из посторонних. Открываю глаза, замечаю: фельдшер Никитич, грузный, добродушный усач, старик. Твердит про малярию.

— Собственно говоря, малярия — лихорадка... — бубнит он: — хины ему, хины... по три порошка. Где схватил?

— Да, вишь, с дядькой ходил... на линию... на Кавказ... — говорит мать.

— Ясно: на Кавказе схватил.

Старичишка-бродяга отстранил вдруг фельдшера, сказал сурово, указывая на меня:

— Его жизнь в граде будущего.

Отец понял это, как смерть.

— Непонятно, странник... Умрет?

— Потом поймешь...

Подошла мать. Заспорили все сразу: отец, мать, фельдшер, странник. Отец тащил ко мне фельдшера, а мать — странника. Отец спорил со старичишкой-бродягой, мать — с толстяком-усачом, с фельдшером. А лечить меня никто не лечил.

Странник твердил упрямо:

— Дух не отступится... Хины разные — тлен. Пущай умирает малыш для буйств сердца... Счастливая доля... в духе оживает... уходи, фершал.

Наседал Никитич на бродягу грузно:

— Собственно говоря, жулик ты, больше

ничего... Пущай живет мальчишка. Уходи ты!

Жизнь и смерть, казалось, вели сражение у моего изголовья.

Победила жизнь.

18. Светлоглазка и Мотька

... Из-за кустов розовых— Мотька-разбойняга, возлюбленная.

— Эх ты, оборванец. Не издох?

— Убирайся к чорту, Мотька!

— Ан и не уберусь. Крапивой сейчас тебя отстегаю. Жив?

О чем это она? Смешно: жив... ведь я знал, что не умру. Это так просто и понятно.

— Я не издохну... А ты — колдовка чортова.

— Ай да кавалер! А еще в городе был...

Мотька из девчонки-оборвыша превратилась за эти два-три года в девчонку-подростка, смазливую и крепкую работницу: плясунью и песенницу. Теперь она зарабатывала себе на платье поденщиной. Сама запахивала батькин надел. На коне гарцовала верхом, как заправский наездник. Шиковала ситцевыми нарядами по праздникам. А на нас, мальчиков, кричала при встречах басом, дралась... Со страха мы разбегались от нее, принимали ее за колдовку.

Вижу, сейчас меня Мотька возненавидела. За что?..

Оправдываюсь перед ней робко:

— Фершал велел мне ходить в сад... от болезни... помогает...

— Знаем мы, какие болезни!.. — со злобой хохочет Мотька. — В девчонку-барышню втю-

рился? Расскажу на деревне — засмеют... Оборванец, а туда же... В городах был, а без штанов воротился, ха-ха-ха... Дубина стоеросовая!

Впрямь, дубина стоеросовая. Согласен. Впрямь, вернулся оборванцем. Гол, как сокол. А ведь мне уже двенадцатый стукнул. Конец незабвенному детству. Его я так и не увидел.

... Но я увидел единственную... девочку-светлоглазку.

Ей было, быть может, одиннадцать? В бело-розовом коротком прозрачном платье, гибкая и стройная, она была сама—розовая заря, забредшая в розовые розы...

Она уехала с матерью в Петербург...

Зачем она пригрезилась мне?

...Мотька соседка опять рвет и мечет. Кричит на нас, ребят, остервенело. Гоняется за нами с кнутовищем. С тех, кто осмелится дать ей сдачи, она, не стыдясь, сдирает штанишки и лупит ладонью по оголенной заднице, хохоча свирепо:

— Хочешь, оголец, вырву тебе все... это?

19. Нервы Никитича

Когда, после долгих обследований раскумекал Никитич, что от моей малярии и следа не осталось, это его озадачило.

— Не ожидал, собственно говоря... — удивленно двигал он, точно морж, седорыжим толстым левым усом. — Не иначе — гипноз... Никак странник? Где он теперь? У меня у самого — нервы... Доктора лечили, не помогает...

И он бросился всех расспрашивать о бродяге. Разыскал-таки его где-то на постоялом, в городе уездном.

С этой поры усач Никитич задружил с бродягой. А через него и со мной сорванцом.

Из жалости ли, или из непонятной дружбы к сорванцу похлопотал за меня Никитич в соседнем селе Амони насчет работы у старшины. Работа известная: батрачить, стеречь животину, повозничать.

— Держи ухо востро, — говорил мне Никитич наедине. — Может, из тебя выйдет толк. Жаль, неграмотный ты... школы нет в вашей деревушке... Бедность батькина... Да, собственно говоря, это дело десятое. Я сам грамоте в солдатах учился... Санитаром был... На фельдшера держал. Это все—дело десятое... — понижал он вдруг голос. — У меня поважнее дело есть. Откроем тебе когда-нибудь... Слыхал про... землю да волю? Может, я депутатом буду, половина России у меня будет под началом... Уф, нервы... А ты — старайся!

Понял я все это так: самое важное — нервы, через них можно половину России получить под свое начало. А все остальное — дело десятое.

Но как раздобыть нервы?

Нас — меня и другого братишку постарше, Степана, — отдали в кабалу к старшине, на скотный двор.

Старшина — высокий, щеголеватый пройдоха (совершенно лысая ярко-красная голова пирогом, седая «скобелевская» борода, хотя, как говорили о нем, ему — не больше тридцати). Дома не жил. Занят был вечными разъездами по

поставке скота в города. При встрече с нами не удостаивал и разговором. И даже едва ли догадывался, что мы у него работаем. Судьбами нашими заведывал старший батрак, Мануха, молодой парень в кучерской безрукавке, в фуражке-московке, с серебряной серьгой в ухе. Мануха властвовал над двором неограниченно. Всех презирал, а самого хозяина звал не иначе, как «Шугуренок» (уличная кличка). Снизойти, да и то не всегда, Мануха мог только до Никитича.

Братишка пахал, я боронил. Иногда стерегли стадо: он — лошадей, я — коров. У старшины было их вдосталь. Гоняли стадо по толокам, по кустарникам, снятым старшиной у помещика. На колченогом, изъеденном оводами старом коняге Акимке братишка вечно гонялся за лошадиным табуном. Я на своих на двоих вечно гонялся за стадом молодняка...

Как-то, в бурю и дождь, слышу: с проезжей дороги, из-за леска, несется истошный крик. Кричит как будто Никитич... Братишка, услышав крик, в переполохе сам кричит заглушенно:

— Режут человека!

И забивается в шалаш под зипун.

А я набираюсь вдруг храбрости:

— Чего скулишь, надо спасать человека!..

— Ну, и спасай сам!

Быстро ловлю Акимку. Взбираюсь на него, мчусь сквозь бурю и дождь за лесок на дорогу: вопль оттуда не унимается.

... С разбегу колченогий Акимка спотыкается в кустах. Я падаю через его ушастую голову, воткнутую мордой в грязь, скатываюсь на какую-то тушу в бурке и... узнаю Никитича.

20. Чортяка

Сидит фельдшер на корточках, под дождем. Дико таращит глаза, вопит истошно:

— А-а-а... Караул!..

— Никитич, очнись... это я...

— Ага... это кто, собственно говоря? — отряхивается он. — Не подходи никто!.. пропадать, так сразу!.. Ась? э, да это ты, сорванец?..

Подымается с корточек. Прячется за меня. А сам, тыча перед собой растопыренными пальцами куда-то в кусты, скулит нудно:

— Вон он... чертяка... Сейчас отскочил... За кусты убежал... Задушил бы он меня, собственно говоря. Брысь, окаянный!

— Да это—пень! — кричу я.

— Ага, пень? — недоумевает Никитич, — значит, надо домой.

Взгромоздился старик всей своей грузной тушей на очухавшегося Акимку. Заторопился домой. И уже подсмеивался над собой, уезжая:

— Болезнь, — это, собственно говоря, дело десятое. Нервы... Поважнее дельце обделал я: листочки сдал кому надо... Это все для вас, сорванцов, для будущего... А ты — молчок. Тайна. Вперед! Вперед!

Тронул Акимку, пропал в дожде за кустами.

А я на своих на двоих поскакал назад к табуну: трубить перед братишкой о своей победе. О стаде я забыл и думать.

— Где Акимка? — в тревоге встретил брат.

— Оседлал Никитич... А что?

— Какой Микитич? Чего мелешь?

— Больной он. Это он кричал. Я его спас... от чертяки.

— Дурак! — кинулся брат, да вдруг — бац меня по башке.

Сам вижу, следует. Без Акимки не перенять табуна. Да и перед хозяином и перед Манухой ответ надо держать брату.

Под вечер брат погнал табун без меня пешком, так как ни одного коняки не удалось поймать. Остался я в поле один сумерничать.

Шел дождь.

В сердце моем все ж цвела радость: я торжествовал над тьмой, — как будто Никитич нашел свое спасение от бед на моих плечах, а не на Акимке.

За единственным дождем — сушь. Голод. А у меня — свое горе. Нельзя, впрямь, сидеть на чужой шее. Страшны: безработица, голодуха. Страшное это навалилось, точно гора. Согнал меня Мануха с хозяйского двора за самоволье. Тщетно защищал меня брат Степан, — не помогло.

Двинул я на поденщину пятак в день на своих харчах. Изобрел сам себе харч — тюрю из жмыхи: две копейки в день.

...Перед осенью приехал издали отец. Ждал я от него взбучки. Но отец, узнав про мои злоключения, сказал вдруг: «Терпи, казак, атаманом будешь». И, купив грифельную доску, повел меня в школу в соседнее село Поповку. Там отец договорился кому-то делать хату, ну и меня собирался с собой взять, чтоб обучить грамоте.

Школишка оказалась переполненной доотказа. Да и сам я был уже переросток. Лысяк-учитель издевался надо мной:

— Тебе пора жениться, а не учиться! Умным быть захотел?

— А вы — дураком быть захотели? — отчеканил я в ответ.

— Пошел вон!

Экое горе! Мне ничего не осталось, как запустить в лысяка-учителя грифельной доской, что я и не замедлил сделать. За это меня отец взгрел потом. Но, конечно, горю моему не помог.

21. Слепец у слепцов

Прошел слух: война с Китаем. («Китай — шуба, Россия — рукав. Куда же рукаву против шубы?» — так шептали мужики.) В тот год (тысяча девятьсот первый, кажется) разразилась засуха. Осень несла нищете холод и голод.

Жители землянок с голодухи разбредались кто куда. Мастеровые искали работы в городах. Конечно, только взрослые. А дети и подростки бродили в степи беспризорными, точно волчата, питаясь у выгребных ям. Бабы ждали светопреставления.

Отвергли меня все тогда. В голодовку, ясно, взять в работники нахлебником меня никто не осмеливался. А дома — без меня семь ртов. Тут-то я и надумал удрать в поводыри к слепцам-нищим. Дорогу мне растолковал кто-то из земляков-односельчан с маху. В дальнем цы-

ганском селе Уланове обретались слепцы-лирники, цыгане-нищие, жулики. Туда я и дернул за счастьем. Разыскал, кого надо. Клюкнуло: мне обещано было два куска хлеба в день — целое богатство.

Тогда ж и поперли в «поход».

Так пробродил я поводырем месяц. Поводырничать куда легче, чем тянуть лямку батраком у деролупов, да подставлять под побои бока. Тут слепые: этим не так-то легко поймать зрячего. Каждый раз, когда ощеривались слепцы на меня диким оскалом зубов, я отскакивал в сторону. Бить слепцам-хозяевам (их было двое — старый и молодой) меня не удавалось, хоть руки у них и чесались. Старый называл молодого почему-то «камрад», а молодой старого — просто: «дед».

— Грамотный? — спрашивал меня старый слепец.

— Нет.

— Значит, наш. Многознаек да задавак, знай, нам не надо. Дак ты вот што, паря, — учили меня новые мои хозяева: — сейчас, слышно, война с Китаем. Раскумекал, в чем тут лафа? Подпевай нам под «лиру»... Конец, дескать, свету. Эдак тоску нагоняешь на всех, жуть, смятение. Ну и больше оттого дают... бабы-то. Ладно?

— Ладно. Нагоню.

«Лира» гнусаво дребезжала в руках одного из слепцов. Я подпевал ей о конце мира свирепо. Когда мы вступали, воя и дребезжа в деревню, — жутью наполнялись сердца людей: нам несли кто что мог, делясь с нами последними кусками, печалью и радостью.

22. Соперники

Как-то дед, корявый пень, Остап, подманив меня к себе лаской, шарахнул вдруг по моей башке костылем так, что я, обливаясь кровью, упал тут же (у меня до сих пор от этого удара шрам на голове).

— Распрощайся с жистью, пес!.. — заревел дед-слепец. — Любжу крутить, форсить вздумал, идоленок? Девок прельщать? Тоже — ка-ва-лер! Гордость напускать на себя?.. Угроблю!

А я лежал почти без чувств. Когда меня откачали, оказалось: влетело мне из-за старой барской шляпы. Какой-то баринок проезжий на шляху подарил мне старую шляпу. И слепец-старик об этом проведал. Два дня подряд расхаживал я в этой шляпе: действительно, девки и бабы восхищались. Но через них-то старик и узнал о шляпе. Теперь уже злосчастная эта шляпа на взлохмаченной колгашке Остапа красовалась. А моя голова перевязана была грязной тряпкой с запекшейся сукровицей на ней. Можно догадаться, как страдал я и сокрушался не по разбитой голове, а по шляпе. Прощай, кавалерство мое!

— Псом ты растешь, псом и подохнешь, — добивал меня Остап дед.—За девок до гроба могу довесть... И поделом: не гордись перед девками в шляпе. Понял?

— Понял.

— Девок любишь?

— Люблю.

— А они тебя?

— И я их,

Из-за баб и девок меж этими моими новыми хозяевами-слепцами вечная шла война.

Остап-лирник,—крепкий, хитрый старчище, высокий и рябой (борода как бы выдрана: осталось несколько седых волосков сбок левой щеки), с переломанным носом и ямками вместо глаз, выеденных, должно быть, оспой, — клял и поносил своего спутника на чем свет стоит.

— Ты мне и в подметки не годишься в рассуждении баб... — грохотал он на камрада. — Дай тебе девку, ты ее и поцеловать-то не сумеешь. Я тебе в этом деле сто очков дам вперед. За пояс заткну!.. Хо-о! Потому ты — жулик, холуй, убивец. А я — самый счастливый человек на свете. Кровь с молоком! И гордость имею к тому ж... Без гордости — пес ты, а не человек. Плевать мне на солнце! Я сам себе солнце — хозяин я! Сам чорт мне не брат... А ты, камрада чортова, и больше ничего!..

Камрад-спутник, — костлявый, сутулый парень вроде помешанного; глаза всегда сомкнуты плотно; но как мне казалось, помешанность эта и глаза — преднамеренные. Этот язвил старика скупо и деловито:

— Замолчи, гнида! Таких, как ты, надо уничтожать.

— Я — вольный казак,—говорил дед: — а ты — холуй! Я все могу.

— Но ведь ты и трех шагов не ступишь без поводыря? А бахвалишься. Вот я, так это верно — без поводыря пойду куда угодно.

— Может, ты и не слепец вовсе, чортова только камрада? Ты вчера вот цыганку Марейку договорил... а я ее... хлопну... хо-хо...

— Замолчи, мразь!..

— От мрази слышу.

И Остап, отмахиваясь от парня костылем, цеплялся уже за меня. В гневе гудел над моей головой снисходительно-строго:

— Ты тут, Тимон?.. Знай — ты мой поводырь, а камрада — чорту на кулички!.. Не робь, пащенок: ослепнешь когда-либо сам... и у тебя будет свой пес... Надейся, жди... А пока зряч глазами — быть тебе псом до могилы... Только слепцу гордость полагается.

... Из-за бурьяна показывалась вдруг цыганка Марейка, желтокожая, жеглая баба в широком замусленном сарафане, в полусапожках, с распущенными сизо-черными косами. Кричала гортанно, дико:

— Сюда, оглоеды!.. Жох!..

И слепцы, спотыкаясь, перли уже, рыча, трусцой, на клич цыганкин. Стыдливо я опускал тут глаза, садился у дороги, спиной к бурьяну. А дед хрипел оттуда, сыпал матюжиной. Там подымался волчий лязг: слепцы сражались меж собой из-за цыганки, а может, из-за сумок, за которыми Марейка приходила?

... Через некоторое время — глухой голос Остапа, из бурьяна, мне:

— Ты тут, Тимон? Проведи меня за ради... бога... Ай де мои сумки?..

Так и есть: дед-слепец сидел в бурьяне без сумок и без зубов. (Зубы выбила деду Марейка каблуками.) А камрад, ухмыляясь, держал тут свою сумку крепко в руках. Сердце парня трепетало от счастья. Но ресницы все так же были сомкнуты: слепец, одно слово.

— Распрощался с зубами, чорт старый? —

язвил он старика. — Мало тебе попало! Забыл разве, Марейку я договорил? А ты ерничать, ерник?

23. Пирушка

Перед «походом» сказал Остап спутнику-парню:

— Кабы не дурак был ты, давно б уж поводыря завел себе. Ходил бы сам себе хозяином... И баба была б за первый сорт—не то, што Марейка энта, драная выдра... Свадьбу сыграли б, во!

— А ты любишь по свадьбам гулять?

— Ой, люблю! Особенно на богатой свадьбе.

— Значит, ты за богачей?

— Я за гульбу!

— Сволочь!

— А ты гнусь, убивец.

— Да какой я убивец, гнида ты!

— А богачей подбиваешь убивать.

— Но ведь ты ничего не поймешь, бревно... Слыхал про тех, кто за вашего брата, гниду, бьется?.. Они всю Россию за собой поведут. Водители.

— Начхать мне на них. Холуи холуев. Я сам себе — водитель.

Слепцы кидались друг на друга остервенело, хрипели, скалили клыки, рвали друг на друге рубахи. С плачем я разнимал их, — тогда они кидались оба на меня. А после мирились.

... Подходим к селу.

Остап настраивал свою «лиру», дребезжали струны. Я подпевал волчонком:

Конец белу свету.
Гони монету.

Отбиваясь длинными костылями от чумовых собак, собирали муку, сало, паленицы. Камрад в обмен на яйца всучивал бабам какие-то душеспасительные грамотки. А в грамотках тех—слыхал я потом—наказывалось: отбирать у попов да у богатеев хлеб для голодных.

Шли так через все село. С музыкой скрывались в степи. По дороге примыкали к нам новые нищие — больше из цыганок -молодух. Тогда, завернув в овраг, дед командовал всем собираться в кружок. Разводили костер, жарили сало, пекли яйца. Пир подымался «на весь мир»... Там же, в степи, и располагались ночлегом.

Под визг цыганий я и засыпал у костра...

А в полночь меня будил Остап. Слал в деревню к потайной шинкарке-бобылихе за «винопольской».

И опять шла гульба. Бесились цыганки, гоготали, пели непонятные песни. Камрад думал какую-то свою думу без слов. Старик наяривал на «лире» «камаринского». Вихрем носилась голь, в дикой пляске исходила.

24. Стербай на полкостыля!

Старик Остап возненавидел божественные книжицы камрада. Из-за них будто бы переставали давать нам в зажиточных дворах яйца и сало. Чуял дед нутром — не к добру грамотки. А я, чтобы насолить рябому хрычу, иногда разбрасывал их уже открыто. Толпа баб поднимала из-за них драку. Ко мне лезли с расспросами. А я и сам не понимал, в чем тут загвоздка.

Догадывался только: листки за нищету, против богатеев. Погнали нас в одном селе вдруг в три шеи. Едва успели удрать в лес.

Тут-то Остап и пригрозил нам каторгой.

— Бунтари, — грохотал он, размахивая костылем: — думаете, меня проведете?.. В каменный мешок законопачу!.. Хозяин я есть и буду, а вы — рвань иродова! Резню затеваете?.. Угроблю!..

Брели мы лесами, ночью. Тропинки извивались меж сосновых коряг, в овраге, по мерзлому мху: начинались первые заморозки. В темноте набрели вдруг на речной омут; попробовали брод — не достали дна. Тогда надумали «стербать» (перепрыгивать) через омут по очереди.

Обычно, при прыжках через ручей или ров, я, как было у нас раз и навсегда условлено, должен был кричать слепцам: «Стербай на костыль!» или «Стербай на полкостыля!»

То есть, ежели ширина ручья или рва наглаз не превышала длины костыля или полкостыля, я должен был подавать команду соответствующую, а ежели ширина прыжка не покрывалась костылем, значит, мне надо тогда кричать: «Поворачивай вспять».

В темноте тут я еще не успел глазомером измерить ширину ручья. Кажись, был он шириной на два костыля. Уже приготовился я было подать команду: «Поворачивай вспять», как вдруг камрад гаркнул деду:

— Стербай на полкостыля!

Стербанул дед на полкостыля с крутого берега в темноте, да и ухнул вниз головой, в омут. Камрад кинулся будто его вытягивать из воды, а на

деле — помог только ему скорей утонуть. Только деда и видели.

А мы, я и камрад, вернулись вспять — в дальнюю деревню, в курную избу бобыля.

Назавтра встаю, вижу: хватил мороз, заковал реки, ручьи. «Остапов труп, значит, теперь — подо льдом», — соображал я. Но самое удивительное было то, что камрад проснулся переодетым (в новой поддевке, в новых сапогах, шапке) и... зрячим.

— Могила!.. — первое, что сказал он мне после сна. — Я теперь не слепец больше. Понял?

— Понял. Могила!..

25. Туляк

Я опять в Амони: возница при сельском «пункте» (стоянка). Здесь же кузница Туляка. Он починщик пунктовского инвентаря, жестяник и слесарь... мастер на все руки.

Тула, Тула, Тула я,
Тула—родина моя!

С Туляком-мастеровым дружило полсела. В каждом почти дворе он что-то чинил, паял, налаживал сбрую. Ютился у старшины на кухне: из-за починок машинных Мануха снизошел до Туляка.

Говорил как-то мастеровой мне полушопотом в закоулке старшинного двора:

— Свобода, паренек, какая она из себя будет, не знаешь?..

— Не знаю, — отвечал я, не поняв к чему гнет Туляк.

— Эхе-хе... — вздыхал он грустно. — Фамилия моя, положим, Виноградов, а вот ейная какая фамилия?.. Может, кумекаешь? Нет? Думал, знаешь...

Умолкал. А я кумекал глупо: «а не писарихина ли это фамилия?» За писарихой Тулячок что-то увивался, шил... чинил ей не то машину швейную, не то кастрюли... А в писариху, кажется, немного влюблен и я: эта толстая баба как-то недавно сграбастала меня в сарае пункта, да и поцеловала прямо в губы.

26. Бегство Туляка

— Держи!.. — неслась однажды утром по селу тревога. — Поджигатель! Конокрад!..

— Какой?.. Где?..

— Бают, Туляк-починщик...

— Убег?..

— На шугуренковом рысаке укатил... сел на дрожки, — ну, и поминай, как звали!

— Поймают!

— Дыть, у него, может, до десятка пачпортов... К тому — денег полон карман. И печать, бают, увез...

— А ты считал деньги-то?

— Видна птица по полету...

— Убить его, коли так!..

Шум шел, как на пожаре. В «холодной» я ждал конца суматохи, может быть, своего конца. Меня трясло в лихорадке: влип я...

Началось с пустяков: с проделок Туляка.

Писариха, — все та же востроглазая, толстая сдобная баба на коротких ногах, — подралась с Туляком на рассвете.

Чтоб скоротать от скуки время после драки, а может, и по другой причине, зашла потом под видом доенья коровы в сарай пункта.

Там, паля мне спину обильной своей грудью, принялась обучать меня азбуке, черченью цифр и другим наукам.

— Большое а — это стропило, поставленное торчком... — просвещала она меня над бричкой, чертя на клочке бумаги что-то похожее на раскоряченную бабу. — Понял?..

Чертила, а сама целовала меня. Я задыхался в жарком кольце крепких ее толстых рук. А она все чертила, все налегала...

— Ирроды!.. — раздалось вдруг над самой моей головой. — Так вы вон что!.. А я — в ответе?

Рявкал Туляк-починщик, свирепый и перекошенный от ярости, широко распахнув дверь, точно расчищал кому-то дорогу. Действительно: сзади бежал писарь, сутулый краснощекий брюхач. Он тоже кричал «ироды», размахивал кожаной, с железным ободом почтовой сумкой, бил уже ею по головам писариху, меня, Туляка.

— Ах ты, сукин сын,... — обрушился брюхач на меня: — раздавлю!..

Пока писарь измывался надо мною, Туляк исчез. Тут же отвязал рысака шугуренковского, запряженного в пунктовские дрожки, и только его и видели.

— Стой, где Туляк?.. — отвалился от меня, насытясь мною и держа в руках клочья моих во-

лос, брюхач-писарь. — Ведь у него печать волостная!.. Чинил, иррод!.. Достать Туляка!..

... До охрипу кричал брюхач на селе. Поднял на ноги все начальство: старшину, старосту, стражников. Открывался всем он, как на духу: Туляк — «сицилист», конокрад, поджигатель, фальшивомонетчик, подделыватель печатей и паспортов, прощалыга, жулик. «Держи! Догоняй! Лови! Обыскивай! Бей супостатов-неприятелей! Стреляй!»

Целое поле брани.

В полдень на поле битвы примчался урядник Картузов.

Этот сразу утихомирил приятеля-писаря. Прощалыгу Туляка все равно теперь не догнать, — ищи ветра в поле! А скандалу от мужиков не оберешься... Ведь все село укажет на писариху, как на главную виновницу беспорядков и зачинщицу «битвы».

— А чорт с ним, с жуликом!.. — неожиданно соглашался писарь. — Давай лучше выпьем...

— Пьем, друзяка... тут вся причина... — подмигивал вдруг урядник другу.

И, обратясь к мужикам, соображает что-то. Надо найти причину. Чтобы очистить все-таки полицейскую свою совесть, Картузов вдруг схватывает тут же за шиворот старосту Воробьева. Связывает ему руки. Командует стражникам по-военному:

— Шашки на-голо!

Потом старосте — вдохновенно:

— Печати отдавать? В город, в тюрьму, сволочь, арш!..

Под военным конвоем старосту Воробьева уводят в город, в тюрьму, чтобы не бунтовал.

— Бунты тут разводить?.. — воевал потом целый день урядник с мужиками. — У меня — не забунтуете!.. В порошок сотру.

Под конец битвы, к вечеру — умаялся. Остыл как будто.

Писариха-толстуха, в награду за благополучный исход ее просветительных опытов, улыбнулась Картузову благосклонно и многобещающе.

Туляка не нашли: его и след простыл.

Зато писарь в тот день старательно и долго обрывал на мне «шерсть себе на перчатки»,— как говорил он. Это страшно неприятная операция: точно с головы сдиралась живая кожа, а не волосы. Оборвав волосы, писарь тут же, на лавке, сложил их. Позвал потом писариху: «Пряди шерстяную пряжу мне на перчатки, сука!»

Очухался я только ночью. Целый синклит (начальство, Мануха, мои родственники, поп Иван) чинил надо мной суд и расправу. Приговорили: дружбу с Туляком мне простить, но держать меня в каталажке на фунте хлеба и фунте воды — в день—до поры, до времени: «за листки».

27. Картузов

Про него рассказывались легенды. Воришек он убивал на смерть каменным своим кулаком. Взятки брал — и с правого, и с виноватого. Перед ним дрожали одинаково все: и те, кто жаловался, и те, на кого жаловались. «Сицилистов», забастовщиков и вообще непокорных бил Картузов шашкой, рукояткой револьвера, шпорой. Му-

жиков, не снимающих шапок, драл как сидоровых коз.

У него, говорили, было уже несколько домов в городе, даже именье где-то купил, а урядничества не бросал, — с тех пор как отличился в Турецкую войну, в Закавказьи, откуда и попал на должность урядника. Сам пристав-начальник боялся его: заслуженная личность, вояка.

А личность — из ряда вон: глаза сверлят и косятся, будто у дикой кошки. Узкие черно-зеленые угольки. Нос — крючковатый. Ловил этот нос, казалось, ему одному ведомые запахи; из-под ноздрей торчали две седоватых стрелки усов. В правой руке — куцка. Когда прикатывал он из стана на дрожках в какую-нибудь деревню, собаки подымали там невообразимый лай, а люди в подвалы прятались.

Вот этот-то Картузов и призывает меня ночью к себе в каморку. От страха душа у меня—в пятках. Горбонос молчит, медлит. Потом грохочет:

— Почему молчишь? Почему не говоришь «здравия желаю», сукин сын?

Дрожа, в отчаянии я лопочу невнятно:

— Здравия желаю... сукин сын!

— Этто кто же сукин сын?

— Здравия... не желаю...

— Н... не желаешь?..

В ужасе я спохватываюсь, да — поздно: оплеуха звенит в ушах, из глаз сыплются искры, я опрокидываюсь куда-то в мусор.

— Н-н-нэ пинимаешь?.. В поррошок сотру!.. Руки по швам, холуй!.. Грамотный, нэт?.. Не научила еще... писариха?.. Грамоте?..

— Н-н-нет...

— Твое счастье... Шкуру содрал бы, ежели б

грамотным был. За неграмотность твою прощаю. Земля у батьки есть?

— Не-е-ту...

— То-то, холуй! Гляди у меня... Запорю!.. Пристрелю, как щенка, ежели...

И вдруг, неожиданно приставив к моему лбу револьвер, уткнулся мне в грудь крючковатым носом. Заговорил как бы тихо, вкрадчиво, но и грозно.

— Пули не хочешь получить в лоб? Молчать умеешь?..

— Не-ет... — лопочу в лихорадке: — ум-мею.

— Уф... Хо!.. — отвалился горбонос на спинку стула. — Чего дрожишь?.. Не зверь, не съем...

Пощекотал вдруг меня, стукнул под ребрами сухожилым пальцем, подмигнул, шепча хитро:

— Значит, могила. Понял? Молчи, как могила... хоть бы и резали тебя на куски. Вот тебе наказ: ты оставишь эту связку у Никитича, фельшара... Тайком, чтоб нихто не видал... Понятно? Он — товарищ... Марш! Воля!

... Значит, милость? Воля?.. От радости я чуть не упал с ног. Потом схватил молча связку, рванулся к двери:

— Стой, холуй!—прохрипел вдруг урядник.— А ты ж знаешь, что говорить, если он спросит?

— Не-ет...

— Скажи: от Туляка... Марш!

В полночь, выждав, когда улеглось все село, я побежал к Никитичу — в его флигелечек, что ютился за двором старшины. Жил там фельдшер один. Он обрадовался, увидев меня.

— Уже?.. Молодец, собственно говоря... От Туляка? Это хорошо. Но никому — ни гу-гу! Нам

бы почту свою наладить... Ты, собственно говоря, будешь нашей... почтой.

Связку Никитич аккуратно распаковал. Листики, пересчитав, спрятал где-то. Часть дал мне, велев завтра же разнести и незаметно разбросать по сборням...

Я так и сделал. Несколько штук принес отцу. Тот, прочитав их по складам, положил бережно за божницу, как святыню: это была «золотая грамота» о земле, о воле. Мне и отец заказал строго-настрого не говорить об этом до поры, до времени.

... Одолела меня дума о грамоте. Достал я у дьячка растрепанную, замызганную «Новую азбуку» с картинками. Налег на буквы, на слоги. Никитич помогал. Иногда дьячок, иногда отец, хоть и знал, кажется, не больше моего... Был я тогда как в огне... Колеся проселочные дороги, одолевал слоги и слова — точно жернова ворочал. Скоро мог уже прочитать «Сказку о рыбаке и рыбке», разбирать газету через пятое на десятое и выводить на бумаге печатными буквами свое имя. Но сколько преград надо было еще преодолеть, чтобы правильно читать и писать!

28. Школа

Моей школой была степь...

Я буквально дрожал, как в лихорадке, завидев светлую степную даль. Готов был итти на что угодно, чтоб так или иначе вырваться на степной простор, хоть на миг, — подумать там и помечтать.

Книг, разумеется, негде было достать. Случайно прочитал я «Тараса Бульбу», а больше ничего... Да и когда читать?.. Весь день — на работе, за чтение книг во время работы бьют смертным боем.

... Теперь-то достаточно узнал я, что означает слово «почта». Можно сказать, я бредил почтой, точнее — газетой, журналишком какимнибудь паршивым...

Наступали бурные годы первых гроз, отдаленные зарницы бороздили горизонт зловещерадостными вспышками. Грянула русско-японская война. Газеты тучами ринулись на село. А заодно — и подпольные листовки. Гроза близилась.

— Попомни мое слово, доживем мы до революции... — вещал Никитич исступленно.

Но и грустил, говоря мне:

— Мне-то она мало даст...нервы... а вот тебе— даст... Будешь человеком — попомни мое слово. Большая дорога перед тобой... Попадешь в город — знай, читай... собственно говоря, учись, у себя самого учись. У тебя есть дар...схватывать... да, на лету... родился ты, сорванец, с гвоздем в голове. Ни на кого не надейся, кроме как на себя. Остальное — дело десятое... Ох, эти нервы!..

Теперь-то я понимал, что такое «нервы». Грустил я с Никитичем о его нервах, бредил городом... Но, может быть, еще не исполнились сроки?

В города двинулась тогда деревня. Город подымался на нищете деревни как на дрожжах. Почти половина деревенского населения из соседних деревень перебралась в город на за-

работки. Остальная половина мечтала перебраться туда.

А я торчал в своей дыре...

29. Кулеш и Григорович

Новость: за Клевенью, за Сеймом — по украинским помещичьми усадьбам — пошел гулять вслед за «золотыми грамотками» «красный петух». Кричал, пел этот петух по ночам об одном: «о земле и воле». Бедняки-хлеборобы спали и во сне видели, как царь, разбуженный «красным петухом», наделял их даровой землей. Без выкупа, без оброков: чтоб, дескать, каждый пахарь был «сам себе хозяин». Конец ярму... Начальство ловило злоумышленников, законопачивало их в каталажки. Тщетно! Страсти разгорались. Кое-где поджигали уже барские угодья, портили скотину.

В поисках каких-то «столичных поджигателей», «скубентов в очках» с ног сбивались стражники. Поймать никого не поймали, но до белого каления мужиков довели.

... В одном из сел, в соседней Черниговщине, в ярмарочный день толпа разгромила каталажку и разогнала начальство. С ярмарки тысячи мужицких подвод двинули, щетинясь дрекольем, на осиные гнезда... За одну только ночь разнесли до двадцати усадеб. Земля встала дыбом...

А после — расправа. Дошла и до меня. Принялись меня искать.

«Где тот пащенок — пунктовщик, што с Туляком путался? Подать его сюда!»

И вот, мой дядя Андрей ночью отыскал меня в коноплях, саграбастал за патлы и, отходив палкой, увел на обрывке, точно барана на убой, за пятьдесят верст от нас — в Коренево, к какому-то своему давнему знакомому сапожнику, «чтоб спрятать концы в воду». Из-за меня грозила расправа всем.

... Эдакой дорогою попал я в Коренево (в соседстве — Благодатное). Воткнулся в артель сапожников, богомазов и... подпольщиков...

Коренево — село у узловой железнодорожной станции. Старожилы — косники-однодворцы, хранители «древлего благочестия», ремесленники, рабочие, шебаи-прасолы. А попал я к пришлым, к подпольщикам — из огня да в полымя. Пропадать все равно!

... Встреча с новыми хозяевами.

Кулеш и Григорович — вот они. Один — силища и страсть, огонь насмешки и вызова в дерзких глазах, молодецкая удаль. Пострадал за правду. Улизнул от волчьего билета. Брит. Черные усы, точно у Бовы-королевича. Курит только тютюн: «чтоб слаще плевать на всех царских собак». А любимый его припев вот: «Тяжело околевать в первый раз да с непривычки... но все равно — наплевать!»

Другой, по имени Григорович, — весь благородство, да и происходил из старой, древней «аристократии», — говаривал он. Глух как стена. И согбен, хоть породистое лицо, олученное седой гривой, орлиный взгляд, ярко-ослепительные зубы, несмотря на тяжесть лет. На руку — стращен (судился за убийство). Штабс-капитан в отставке («Шнапс» — дразнили его за глаза),

Припев: «В мире все пустое: власть и чины, было б винцо простое, кусочек ветчины». Пьет запоем. Храбёр. Жаден до баб (тяжесть лет — не в счет).

Так вот: шла война с Японией, и начиналась война — с барами. Весна четвертого года — весна гроз и бурь. И этой весной... очутился я у этих «сапожников» в лапах.

— Попался? — вопрошает меня вкрадчиво капитан. — Мне не отвечай, ничего не слышу. Ежели б поменьше слышали люди, лучше было б... Андрея, дядю твоего — старика — знаю по Одессе... Давно дело было — шил он мне там сапоги. А теперь сам вот шью. Ему уважу — уберегу тебя, молокосос. У меня такой спасается, вот (кивок на Кулеша). Питерский. Про главного ихнего знает... Вот... Рыскают за Кулешом, а он у меня, как у Христа за пазухой... Кулеш-то... Может, он вовсе не Кулеш, а так... мутная похлебка для дураков?

— Заткнись, Шнапс!.. Расшибу!

— Штабс-капитан лейб-гвардии Кексгольмского бессмертного полка... А ты — несчастный унтеришка!

— Измочалю! Хлебнешь горячего Кулеша! Схватка. Григорович повергнут на обе лопатки. Превосходство свое приходится ему доказывать только рассказами о славном былом, лежа под противником — Кулешом и отплевываясь кровью. Кулеш хохочет.

Я слушаю благоговейно.

Да! В юности капитан, по его словам, славился знатностью, красотой, богатством. Женщины с ума сходили от него, стрелялись и тра-

вились. Учился он в Питере, в Пажеском, с князьями.

Это «накачивал» с первой же встречи Григорович. И еще, и еще... Князишка Барятинский покойник — его друг. Под его началом капитан завоевывал Кавказ. Потом отбил у него любовницу — юную черкешенку. Ее кто-то убил за измену, обвинили в убийстве капитана. Дело ограничилось только «вылетом» из полка, «без мундира и пенсии». Капитан, с Кавказа возвратясь и просадив в гульбе свою вотчину, женился на дочке торговца. Тут и застрял. Собрал артель сапожников — прощалыг, промышляет теперь сапожным ремеслом... А ведь... «были когда-то и мы рысаками».

— Подымайся, кляча! — грохотал над ним Кулеш.

— Записку! — шопотом уже скулит капитан (не слышит).

Кулеш пишет карандашом записку. Там — коротко:

— Мир, кляча! Идем к Таубе!

— Мир, друг! — ликует капитан, подымаясь: — Нельзя так итти к Таубе! Стоп! «Смирно». Слушайте команду!

... Так «командует» нами этот старик. А я у него «адъютант» (его слово). Ношу воду, колю дрова, бегаю за водкой, пеку хлеб, готовлю обед, подметаю хату и, между прочим, «учусь» сапожному ремеслу.

Старуха-капитанша выжила из ума. Единственное, на что она еще способна, это — бить своего «губителя»-капитана костылем. Часто я разнимал их, за что они на меня же потом и набрасывались.

Кулеш громыхал:

— Эй, вы! Тихо! Не то расскажу Таубе.

Заканчивались семейные бури тем, что капитан-глухарь уходил с приятелем к солдатке Польке Шумарке, дородной красавице-молодухе. Кутили там до петухов, дрались в кровь, опять мирились.

На рассвете, обобранные Шумаркой, заваливались под забором.

Старуха-капитанша наутро шла с костылем выбивать окна в хате Шумарки-суки. А выбивала только ребра капитану... Под конец всего — глухой приказ капитана мне:

— Лечи, адъютант! Слушай команду!

— Апофеоз! — подтверждал Кулеш непонятно. — Клячу лечить — что... точить!

30. Странствия и приключения Кулеша

Дома сапожничали по вечерам, когда хватало работы. А нехватало, бродили весь день по поселку, под окнами домишек чинили сапоги, паяли ведра, подновляли богов. Богомазь — обязанность капитана, «специальность». Заворачивали, как бы мимоходом, в соседнее богатое село Благодатное: громили там «духовидцев» (старь), начетчиков — за надувательство. Кулеш отыскивал среди батраков и рабочих-пенькотрепальщиков своих «человечков». Подмигивал им о чем-то, соблазнял обещаниями и надеждами. «Надо искать корень жизни». «Человечки» шли за нами в Коренево. Там, в поселке, хранились у Кулеша какие-то, ему одному ведомые «приклады сапожные». Собирались по вечерам рабочие, жуж-

жали вполголоса, спорили—о партиях, о революции. Кулеш одарял всех глухим клекотом:

— Революция — факт! Надо выбрать момент для последнего боя. Такой момент — возвращение солдат с войны. Война кончена, революция началась.

Спор до рассвета. На рассвете Кулеш, проводив рабочих, брал старый сапог, садился на крылечке, принимался гвоздить с остервенением. Над крылечком красовалась вывеска, состряпанная капитаном: «Чиним и шьем сапоги, ведра, иконы, часовых дел мастера из Петербурга». Капитан и Кулеш так искусно втирали очки здешним попам да крючкам, что никому и в голову не приходило заподозреть «мастеров» в чем-либо предосудительном. Даже наоборот: считали их все столпами законности и порядка из-за Таубе.

Часто Кулеш ездил по ближайшим станциям: на складах, дескать, закупал материал для мастерской, заготовлял «приклад». Кружок железнодорожных рабочих торговал кулешовским «сапожным прикладом» наславу. Чтоб оправдать вывеску, превращались на некоторое время: Кулеш — в починщика часов, капитан-глухарь— в богомаза-художника, а я — исключительно, в сапожника (изредка все ж помогал я капитану и в иконописном мастерстве, насколько умел). Нас никто не осмеливался трогать. В поселке, заселенном сплошь и рядом евреями, Кулеш «катался, как сыр в масле»: от хлеботорговца Таубе до последнего портного — все знали, каким влиянием пользуется «сапожник-часовщик» у рабочих железнодорожников.

Но... «на каждую старуху бывает проруха».

Как-то вечером приводит к себе Кулеш в мастерскую «заказчика», а этот заказчик — щупленький востроносый черныш в синих очках — вдруг выпаливает вкрадчивым, но повелительным голосом.

— Ваши документы!

Сразу понял тут Кулеш, что это за заказчик.

— Вы кто? — стараясь что-то сообразить и как бы не понимая, скалит зубы Кулеш. — Дальний или здесь живете?

— Это не важно. Документы. Имею полномочия...

— То есть, я хотел спросить: вы — еврей? Документы мои...

— А что?

— Так ведь и я же — еврей! Одессит.

— Ну и я одессит. Что вы этим хотите сказать?

— То, что мы поймем друг друга. Сейчас я вам расскажу все. Слушайте внимательно. Каца-старика, одесского богача, знаете?

— Слыхал, ну?

— Я —его побочный сын. Отказался от меня, подлец, когда я был еще ребенком... Вогнал в могилу мою мать... Вот как дело было...

И Кулеш с места в карьер, не давая ни себе, ни пришлецу передышки, начал рассказывать всю свою несчастную жизнь еврейского сироты.

Начиналось дело почему-то с Петербурга. Туда попадал Кулеш переплетчиком. Но так как он сирота-еврей, то работы ему не находилось, хоть он и горел желанием послужить «русскому переплетному искусству, а также литературе»... Безработица переплетно-литератур-

ная грозила высылкой за черту оседлости. Пришлось посвятить себя искусству сапожному. А сапогами разве много заработаешь? От скуки — запил, познакомился с матросами, удрал в Кронштадт... Там пристроился кочегаром на морском пароходе...

— Позвольте, — вмешался вдруг черныш:— а где вы про «главного» узнали — в Петербурге или Кронштадте?

Но Кулеш, как ни в чем не бывало, продолжал... Из Кронштадта пароход увез его в Гамбург, где встретился с ним случайно богатый коммерсант: взял его своим слугой. Скоро оба— господин и слуга — отправились в Берлин и Париж, в Ниццу, в Рим... Исколесили Францию, Италию, очутились в Испании. Надоела Испания, подавай Лондон. А оттуда попал как-то в Нью-Йорк. В Америке вдруг обнаружилось, что сирота—не сирота, а чорт знает, что такое: «гой». Отреклись от своей же крови американские евреи. С треском изгнали из своей среды, а все оттого, что побочный сын. Снова — пароходный трюм, океан, кочегарка... Константинополь... Оттуда до Одессы — рукой подать. Родная Одесса! Все.

— Родная Одесса! — вырывается неожиданно вздох из груди черныша. — Итак, вы — одессит?

— Чистокровный! — с достоинством подтверждает Кулеш.

— Теперь я вас... понимаю! — задумчиво молчит человек в синих очках. — Так я вам скажу: жизнь есть война... Если вы, как говорите, изучили талмуд, то... должны припомнить одно мудрое изречение оттуда: «Ты идешь на

войну? Возьми там прекраснейшую из женщин».

— И и ее взял: племянницу князя Барятинского, — ударил себя в грудь Кулеш гордо.

— А как же... князь?

— Барятинский? Умер старик. Наследники— шантрапа. Не желаю с ними дела иметь... Один капитан (кивок на капитана) — друг покойника князя... и мой... (Записка капитану-глухарю: «Расскажи про Одессу».)

— Одесса? — растягивая, мямлит Григорович, прочитав записку. — Родной мой город... Двадцать лет прожил там. Милый... юг...

— И вы — одессит, капитан? — радостный вскрик черныша.

Капитан — за глухотой — молчит. Как бы за него и за себя отвечаю я:

— И я одессит: мой отец плотничает в Одессе!

Грохот Кулеша. Черныш, откланиваясь, уходит с улыбкой.

— Ради... земляков... Но...

... Ночью Кулеш клекотал глухо, обучал меня уму-разуму:

— Втер я ему очки... сиротством да талмудом. Я всегда так: коли сыщик — еврей, выдаю себя за еврейского сироту, гонимого из одного конца света в другой. А перед сыщиком-черносотенцем разыгрываю истинно русского... На мой век дураков хватит! Но ты, паря, держи ухо востро!

31. Любовь капитана

Старуха-капитанша убралась в Киев на богомолье. Дома без нее мы были вольные казаки.

Я тачал сапоги, стряпал жратву, мечтал до одурения о маленькой егозе — дочке Секерихи (купчиха). Кулеш рычал о старшей купчихиной дочке, но он окунулся с головой в свои «ходы». А капитан-старик, вспомнив свою молодость, былые дни любви, вдруг вытребовал к себе, во флигелек, Польку Шумарку, непреодолимую, пышнотелую любовь... Он бродил теперь, точно в чаду,- приблизиться ж к ней не смел.

Расположилась вот Полька с крынками молока на рынке, против нашего крылечка. Повела на окно капитаново крутой черной бровью... Но в мастерскую не шла. Кулеш прошел мимо — и она не удержалась, подмигнула черноусому кавалеру.

С первого же шага между друзьями завязалась — я это видел — молчаливая борьба за Польку. Полька закружила их, точно водоворот.

Капитан грустил. Дело в том, что вытребовать-то Польку он вытребовал, а ночевать пришла она не к нему, но — к Кулешу. Рвал и метал капитан. Писал другу послание: «Уступи... последнюю радость».

Кулеш отвечал в записке: «Наплевать на всю кровать! У меня и без твоей Польки другие ходы, которых тебе, кляча, не понять». — «Тем более уступи, раз ты богат ходами», — скулил в записке опять глухарь». — «Ни черта я не богат! Отвяжись!» — заканчивал переписку Кулеш.

Полька молча сидела на лежанке, издавала жар, готовая опалить всех сразу. Друзья-переписчики как будто успокоились. Кулеш, перечитывая записки, гоготал мне: «Учись ходам

жизни, вьюнош! На бабе, как на дрожжах, вся жизнь подымается. Факт».

Капитан-старик притих. Погасили лампу. Когда расположились мы втроем — я, капитан и Кулеш — на ночлег, на полу, радости старика, в предвкушении любовных утех, казалось, не было предела. Капитан поюнел: дрожащим, срывающимся голосом поведал он победу свою былую над черкешенкой — княжеской любовницей. А может — над женой? Хорошо не помнит. Знает только: красавица, аристократка.

Произошло это в Питере. В полночь присылается за капитаном карета... И вот, молодой капитан — во дворце. Слуга проводит его в тайник дворца. Над альковом — лампадный свет. Красные маки запевают. Трепещет обнаженная красавица, бросается навстречу... Но — на лице у нее — маска. Или чадра! Разве на пожаре разберешь? Произошло то, что должно было произойти. Вихрь страстей, стоны, крики восторга, конец! Попытка сорвать маску, — из-за маски: «Мальчик, нельзя!» — ее последний вскрик. Неудача: не узнал удалец-капитан, кто была эта юная красавица-аристократка — жена или любовница? Но не страшно было потом отдать чорту на слом и всю жизнь из-за одного только изгиба ее тела! Об этом теле напоминает ему теперь Полянка Шумарка... Та же палящая красавица, только — без маски. Неутолимая вот.

— А... где ж она?! — спохватывается вдруг глухарь-капитан. Шарит трясущимися руками по пустой лежанке, воет... — Удрала, стерва!

А Полька рядом, в темноте, на соломе была с другим.

32. Революция

Гудки паровозные: тревога. Лязг. буферов, взрыв, крики: стоп машина! Началось.

Выбегаем с Кулешом на платформу, видим: на путях — кавардак. Опрокинутый паровоз еще дымится свежим дыхом — у тупика. Тут же — осколки раздробленного вагона, чья-то кровь... Бегут куда-то рабочие, машут руками и сзывают друг друга: в депо, на митинг.

Поезда стали. Забастовка. Девятьсот четвертый год. Осень.

И простирал уже Кулеш саженную руку над тысячной толпой в депо, на митинге... Клокотал, точно паровоз:

— Не́ предаваться беспечности, товарищи! Надо запасаться оружием, готовиться к схватке с жандармами!.. Революция — это война!.. К оружию!

Митинговали до вечера... Разошлись, только выставив караулы. Через несколько дней прошел слух, будто откуда-то движутся казаки. Ночи без сна, далекие пожары помещичьих усадеб... Заворошилась шестая часть планеты...

... В разгар этой заворошки отыскал меня здесь, в Кореневе, отец.

— Ты что тут баклуши бьешь? — было первым его вопросом.

Я отвечал, что не бью баклуши, а сапожничаю, и вообще революция.

— А одевать тебя кто будет? Зима на носу, а ты, вишь, гол, как сокол. И я потерял работу. Дома — голод... Где твой хозяин?

«Хозяин», Кулеш, на вопрос отца о плате за мою работу загоготал оглушительно:

— Зачем тебе деньги, старик?

— Чтоб жить... работа плату любит! Платить надо за работу сына?

— Плюй на все! Скоро будем обходиться без денег!.. Революция!.. Богатыми всех она поделать не может. К чорту богатство!

— Да мы же — нищие! И работы нет. А вы вот заработанного не отдаете...

— Сколько тебе за сына?

— Ну... хоть пятерку за месяц. Одеть надо парня.

— Плюй! Революция и деньги — вещи несовместимые.

Плюнул отец, обозвал Кулеша мошенником, ушел ни с чем.

Через неделю смылись отсюда и мы — все, кто был позаметней. Нагрянули казаки с пулеметами и орудиями. Биться с ними нечем. А от облав можно было спастись только бегством, и мы навострили лыжи кто куда. Прощаясь с рабочими, заклинал Кулеш:

— Не сдавайтесь в руки врагов! Ждите нового сигнала!

Сам он двинул тогда же на Петербург.

А меня — да и всех нас—добивали «фа-раоны».

Старшего брата и других законопатили в тюрьму. Я принужден был скрываться... Прятался по кустарникам, по пуням, по оврагам... Голод и бессонница мучили меня. Я горел, словно свеча, зажженная с двух концов. Но сказочно-песенный прибой бушевал во мне теперь с небывалой силой.

Как преодолел я грамоту, — отчасти я это рассказывал, а еще об этом речь впереди. Но

писать, — не для себя только, но и для других,— я научился в то счастливое лето по какому-то наитию... Правда, дико, неуклюже, наивно. Но все же «излагал». Печатными, конечно, буквами, так как к прописным питал почему-то отвращение. Так я написал нечто о забастовке, о «красноим петухе». Писал где-то в пуне, в полутьме, карандашом на колене на оберточной бумаге.

Потом послал в архи-левую «Курскую весть». Через неделю слышу: по рукам земляков ходит газетина из самого Курска. А в газетине той статейки сногсшибательные о наших забастовках, о пожарах, о доле обездоленных... Подписаны статейки «К» и «Гонимый». Это — мои подписи. И вдобавок — стишки мои...

Достаю газетину. Так и есть: точка в точку. Урра!..

33. Дорога далека

— Камрад, камрад! Эй, чуйка!.. Молодой путешественник! Куда держишь путь?

Из-за леска, по большаку, нагоняет меня коляска-шарабан. В коляске узкогрудый тщедушный господинчик, в очках, в помятой запыленной шляпе, в легкой летней поддевке поверх чесучевой рубахи. Глаза — воспаленные, мягкая улыбка в углах этих глаз, в изгибе бледных губ. Выбрит. На затылке будто лен, а в ней, будто серебро, проседь.

— Приказчик купца Латышева, — рекомендуется. — Эх, и задали вы нам жару, ха-ха!.. Забастовкой-то... У нас еще до сих пор поля не убраны... Тс... Я — тоже свой.

Ну, думаю, влип.

— То есть как это «свой»? — изворачиваюсь, а сам гляжу в сторону, в лесок, чтобы на всякий случай дать дерака. — Я не тутошний... А вы — езжайте своей дорогой, господин товарищ.

— Да бросьте... Ха-ха...— хохочет приказчик заливисто. — Я ведь от души... ха-ха-ха... Наш Латыш с испуга в постель слег... за границу собрался удирать... Дизентерию, понимаешь, получил через забастовку... А о тебе, товарищ, я слыхал... от своих земляков... я ведь сам в душе... Так им и надо сволочам толстопузым. Жаль, семья у меня... дети... Но — я ваш...

— Что вам от меня надо?

— Да ничего. Только мой совет: навастривай, друг, лыжи отсюда. В какой-нибудь город. Разве только и свету, что в окне, а?.. Слыхал, небось, про Ломоносова?.. Пока, камрад...

Ничего я не слыхал про Ломоносова, но в связке книг, оставленных мне Кулешом, нашел я наряду с Лермонтовым и «Детством, отрочеством и юностью» Толстого и книжку: «Жизнь и деятельность Ломоносова». Книги эти я, разумеется, проглотил залпом.

Книги эти далеко меня завели.

А мечта моего отца была — сделать из меня хорошего столяра. Как о недостижимом счастьи загадывал он о том времени, когда я, подучась у людей, может быть, поступлю на курсы строительных десятников или буду зашибать деньгу табельщиком...

Разбил я мечты моего отца в прах. Перед уходом в дорогу дальнюю, ночью прочитав ему мое напечатанное за подписью «Хам» («Ну и выдумал прозвище, не к ночи будь помянуто», —

поморщился отец), выложив все, отчего кружился я точно в чаду, — я сказал отцу:

— Буду учиться... Это решено бесповоротно, до гроба.

Крепко задумался отец: должно быть, знал, что это значит.

— Ты сказал вот: до гроба... — усмехнулся он грустно: — это еще неизвестно... Бывает и так, что умрешь, а гроба-то и некому и не на что достать. Тогда хоронят без гроба.

— Э, что о гробах говорить... иду в город учиться, чтоб быть ученым. Про самоучек слыхал? Про Ломоносова?

— Слыхать-то слыхал... Хорошее дело...

— Так в чем же дело?

— Конь с конем, а вол с волом, — сокрушался отец. — Но если надеешься пробиться, от всего сердца желаю удачи... успеха... Разве я не знаю? Я с хорошими людьми знался. Учись, сынок, помни: оборвешься, пропало все. Тогда — не жди от тебя помощи... Думал... растут ребята, помогут к старости... из бедности выбьемся... Ан, не пришлось... чую: не к добру это... То бишь и к добру было бы, если б... Ведь я же пропадаю от ярма, едва жив! — вскричал он вдруг. — Не забывай нас!..

— Я буду помогать тебе!

— Куда там!

Но потом проронил уже примиренно:

— Может, ты прав... Я ведь тоже собирался тебя отдать в школу, хоть бы в сельскую. Да бедность лютая. Трудно тебе будет без денег... Но я умру спокойно, ежели ты на большую дорогу...

Не досказал — затрясся от слез...

34. Облава

... Утешить отца не пришлось... За двором раздались вдруг тревожные крики матери: нагрянули урядник Картузов с кучкой стражников.

Что тут было — не помню. Мать успела только, вбежав в хибарку, крикнуть мне:

— Убегай — убьют!..

Я убежал, пользуясь темнотой и зарослями конопли. Из конопель слышно было, как увозили брата Егора и отца стражники. Картузов кричал свирепо:

— Прятать? Бунтовать? Я вас упрячу!.. всех!.. куда ворон костей не заносил!

В хибарке, будто по покойникам, причитали мать и сестренки...

—

Смятение охватило меня. Спасти мать, маленьких беззащитных сестренок, коль не сумел спасти отца, братьев — вот долг.

Ясно: учиться — не мне. Надо доставать работу, чтобы спасти от гибели семью...

... Братья остались в тюрьме надолго. Отца выпустили — «старость пожалели», — но он был разбит и, придя домой, слег.

Когда я, собираясь в дальний путь, тайком посетил его однажды в полночь, он беспомощно убивался, разводил руками:

— Куда ж ты, сын мой?.. Бросаешь нас, стариков...

— Ухожу — не значит — бросаю.

— На большую... дорогу?

— Да.

— Счастливо!

Простились. Я вышел за дверь, в сенях при-

слушался. В мозг мой впилась незабываемая обида отца на мой рок.

35. «Тайна рода»

Безвестный нищий, говорили, шлялся где-то тут по селам. И почти даром, за кусок хлеба, учил «большим наукам» шустрых начетчиков. Но где его поймать, бродячего профессора? А где-то там в Москве текли медовые реки науки — слыхал я... К чорту учителя-бродягу: если учиться, то учиться по-настоящему! Так я сказал, так будет.

И вот, рвусь пешком в Москву — за наукой.

А за мной по пятам — старичок-полевичек, странник мой давний. Уж не он ли нищий учитель начетчиков?

Говорит мне старик:

— Эй ты, гордец!.. Начитанный!.. А может, ты вовсе не смерд нищий, а князь духа, богач? Кто твои предки? «Тайну рода» постиг?.. Ох, не за тем богатством и не за тою наукой гонишься... Гордыня обуяла тебя. А сказано: научитесь у меня, ибо я смирен есть и чист сердцем. Хочешь, научу?

— Это и есть твои «большие науки»?.. — спрашиваю.

— Самые большие, больше сих наук нет на свете. Светлые науки. От черных наук полетишь, да грохнешься, а от светлых — «на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею». Хочешь, научу?

— Мне нужны другие науки.

— Шут ли в них, в науках тех черных. Вме-

сто хлеба дают они — камень и железо, вместо рыбы — змею.

— А ты — наелся хлеба?.. — задаю ехидный вопрос.

Старик уличает меня в язычестве. Грозит страшными карами, последним крушением древнего чьего-то праведного рода. Тайна сия, дескать, велика есть. А разгадка—в крещении «праведной ветви на виноградной лозе благочестивых» огнем и духом. Неправедная же, иссохшая ветвь, связанная дьявольским словом о черной науке, «от самого царя-чернокнижника—от Ивана Грозного — да сокрушится и истает, яко тает воск от лица огня!»

Вот о чем был сказ старика.

... жил Грозный в стольном городе Москве, в красной башне тешил себя и Тьмяного из-за науки черной казнями подданных. Под старость вразумил его нищий родич-праведник искусству подвига. И осенила царя благодать схимы. Возвысился он до бога — слова, чтоб, значит, править духом, а не обухом.

За это-то на Грозного и взъелся чорт. Носится с пактом о черной науке, как с писанной торбой. Мельтешит — то в образе мудрого книгочия, то под маской обезьяны ученой. «Выполняй пакт, Иване». Молчит царь.

Чорт еще не знал о схимничестве Грозного, надо быть. Прет он напролом в тайник башни к схимнику-царю, чтоб род весь православный закупить-загубить. А Иван Грозный возьми тут да и перекрести дверь башни. «Стоп!» — кричит чорт.— «Попался?»—вопрошает царь-чернокнижник (о схиме — забыто). — Каюк!» — «Ослобо-

ни. Летать будешь, Иване, аки птица в поднебесьи». — «Птицы с железными носами?» — «Покеда — воздушный шар. А железный нос — потом!» — «В Ерусалим можно?» Покоробило чорта от таких слов. Подумал он подумал, да и говорит: «Садись, свезу».

Сел верхом царь Иван на чорта, вроде как на воздушный шар. И полетел чертяка под звездами так — аж шапка соболья у царя с башки сорвалась.— «Остановись!» — кричит Грозный:— шапку поднять надоть, сорвалась».—«Э, пятьсот верст отшпарил ужо», — чорт в ответ. — «С нами крестная сила!» — вопит, крестясь вновь, царь Иван (вспомнил, знать, о схиме)... И — грох тут о какую-то гору, аж бок отсадил.

Смотрит: Лысая гора в Киеве — стольном же граде. И никакого воздушного шара — только жирное чортово пузо. А сам чорт хохочет: «Слетал? Произошел науку черно-воздушную?»— «Отойди, сатана!» — «Не отойду. Схиме твоей, да и ветви твоей из древлего рода — каюк! А потомкам рода того быть, Иване, рабами Вельзевула — язычниками».

Чорт исчез, аки дым. Царь же Иван, переодетый мужиком, поволочился, в стыде и сраме, в Москву. И, обезумев, снова принялся там ради черной науки за казни. С тем и умер.

Нищий же родич, последний, чудом спасенный от казни, пошел по градам и весям, чтобы учить жестоковыйных самым большим наукам — милосердию и любви. Род его не угас и до сего дня, в праведной своей ветви: цветет та ветвь на виноградной лозе неувядаемым цветом. А ветвь Грозного, иссохшая, отсечена мудрым садовником и ввергнута в огонь.

— Вот тайна древлего рода! — заключил сказ свой странник, держа меня на дороге за фалды обтрепанного пиджака. — Как ты думаешь—гореть праведному роду или не гореть?!. Скажу так: коль сгоришь телом, тогда духом очистишься и ветвью нетленной на виноградной лозе у виноградаря расцветешь. А коли телу угодишь, — дух твой отсечен будет мудрым садовником и ввергнут в огонь вечный, аки ветвь иссохшая. К чему я тебе поведал сказ мой о Грозном? Сей царь-чернокнижник отрекся от благодати, ко врагу рода человеческого вернулся ради черной науки, а и враг насмеялся... А ты, вьюнош, мой дорогой, не будь таким. Сгори телом, но сохрани дух! Вернись от ненависти к любви, от черной науки — к светлой ради грядущего Светлого града... Пройди мимо окаянной башни, в коей погиб за казнями невинных царь-чернокнижник. Отверни взор свой от зрелища сего, дабы тебе не соблазниться дальше от ученых-чародеев. Далеко и высоко полетят они с башни науки своей, а все сверзятся в тартарары! Подохнут на Лысой горе с голоду — прямо скажу. А ты помни: чем выше взбираешься на башню, тем страшнее будет падение с нее вниз. И когда падает дух, нет предела падению, потому что дух беспределен. Тебе кажется, что ты полетел, но ведь ты полетел в бездну! Вернись...

Старичишка вцепился в меня скрюченными руками. Но, отстранив странника, стрелой устремился я от него — на Москву.

36. «Большая дорога»—Питер

Дело было так. Мать, часто сокрушаясь и тяготясь бедовой нашей долей, обмолвилась

как-то вскользь: не то в Москве, не то в Питере живет ее сестра с мужем и сыном (Семеновыми), рабочими какой-то фабрики. Двадцать лет уже, как уехали, с тех пор о них — ни слуху, ни духу, точно в воду канули. Но, должно быть, работают же где-нибудь, в Москве, аль в Питере, раз уж уехали туда, плюнув на окаянную эту деревенскую лямку.

Обмолвка матери отчасти и предопределила, но, главное, ускорила мой план «большой дороги». Я сказал себе: в Москву или в Питер живым или мертвым. Нельзя терять и одного дня.

Двину в Москву, разыщу тетку, а там — «дай, где стать, и я поверну мир» (где-то вычитал). Не удастся повернуть мир — поступлю на фабрику: свет ведь не сошелся клином. Но где взять денег на дорогу? И в чем ехать? На ногах чуни-лапти, на плечах—старая ватная чуйка...

И все-таки — двинул... «Образованные люди поддержат», — мечтал я.

Но... только через месяц, пробираясь то пешком, то «зайцем» на крышах вагонов (при этом не раз кондуктора сбрасывали под откос), я очутился голодный, ободранный и разбитый в Москве. Дополз до адресного: никаких Семеновых в Москве нет.

А до Питера далеко...

... Еще месяц нечеловеческих усилий — и я в Питере. Это было осенью. Безработица. Надо искать родственников Семеновых.

Плетусь в адресный: есть те, кого я ищу. Счастье это или несчастье, ибо невероятный мой вид отталкивал всех?

Ютилась тетушка моя в рабочей квартирке, переполненной «угловыми» жителями: сын ее (мой двоюродный брат Алексей) работал на фабрике. Типичное пролетарское существование. Но и она, моя бедная тетушка, испугалась моей нищеты насмерть. Чтобы не добивать ее окончательно, я остался в темном коридоре...

— Там какой-то мазурик... ждет... — шептала в страхе тетушка сыну, когда тот пришел с работы.

Алексей, братишка, — вечный от того дня друг, — втащил меня за рукав к своим в комнату. Сказал с весом, тыча мне в отощавший живот пальцем:

— Надо потесниться, мать. Не ночевать же ему на улице. И — подкормить...

Тут же, ни слова больше не говоря, содрал с меня мое барахло, чуйку, картуз блином, несуществующее белье... И, размахав все это перед раскрытым окном, выбросил, в гике, с пятого этажа на улицу. На улице долго шел крик по этому случаю...

Назавтра, облаченный братом в пальто, ботинки, кепи, сразу же я рванулся к выходу.

— Куда? — удержал за фалды брат, — угорел, что ли?

— Надо спешить.

— На пожар, что ль?

— Шагать... я приехал, чтоб шагнуть и...

— ??

— И завоевать мир.

— ??

— То есть сделать решающий шаг в жизни... Ты не знаешь...

— Фью-фью!.. — засвистал Алексей, — чего тут знать... Питер — это тебе не деревня, запищишь тут, брат, комариком.

— Я хочу учиться, я—будущий Ломоносов, может быть...

— Садись лучше жрать.

— ??

— Шагать, то есть мостовую гранить, успеешь. Занятие не из завидных. Еще надоест.

«Как же так? — думал я: — что же тогда значат мои статейки, стишки в «Курской вести»? А десятки удивительных историй в голове, историй, которые еще не воплотились, но которые не дают мне спать по ночам? Здесь, в Питере, столько светлых умов, разве они не помогут?»

— Узнаешь потом, прав я или нет.

... Попадаю в гигантский дворец на берегу Невы. Прямехонько на резиновую фабрику «Треугольник». Поденщиком, с платой восемь гривен в день. Но и это клад.

«Тайну слова» не бросаю и тут. Под чистку ржавых грязных шин строчу стихи тайком, собираю кое-какие фактики из заводской жизни. Стряпаю заметки, наброски для рабочей хроники в «Новой газете». Печатают. Просят еще приносить. Обещаю сногсшибательный рассказ. Приношу, получаю аванс в целых двадцать рублей: победа, чорт побери!

Но некий консультант «Новой газеты», единственный непререкаемый знаток рабочей жизни, прочитав мой рассказ о рабочем-забастовщике, журит меня строго:

— Брось якшаться с декадентами.

Суть в том, что у меня было письмо от Блока,

с Блоком я был знаком уже месяц, об этом проязычиваюсь тут в разговоре.

— Блок нам не указ.

— А рассказ?

— А я и говорю, что декадентский рассказ... Рабочую жизнь я знаю, так не бывает.

— А ежели... рабочие подымутся, восстанут... Скажете тогда, что так бывает?

— Там видно будет.

На том и покончили. Во всяком случае больше мне авансов не давали.

... Из заметок не стоило огород городить. И вообще не мог я из-за своей рабочей хроники продержаться на заводе долго. Меня попросили для репортерских «прогулок выбрать подальше переулок».

37. В церкви Спаса на Сенной

Есть такое дело. Но выбрал я не переулок, а Никольскую площадь, у Крюкова канала. Это — уличная биржа труда, попросту, толкучка.

Попадаю сперва землекопом, потом плотником на стройку: когда-то, на юге, плотничал ведь я с отцом. В руках у меня — заступ, топор, долото, рубанок: все это мне дал напрокат «скобарь», мелкий подрядчик, мой новый хозяин. А в карманах моих — рыночные книжки, самоучители. Книжки хозяин посоветовал спрятать подальше.

С восьми утра до шести вечера я копаю канавы, обтесываю бревна, шаркаю рубанком. С натуги — искры из глаз сыплются. Сам все думаю о книжках. Ночью, после шести, где-

нибудь в общежитии будет, думаю, полный простор для моих книжек...

А «скобари», мои товарищи по работе, с которыми ютился я в общежитии (от тетушки давно пришлось уйти из-за беспаспортности моей: дворники донимали), «скобари» (бранная кличка псковичам), дуясь ночь напролет в карты, размышляли о книжках несколько иначе...

Едва я подсаживался с книжкой к лампе, как на меня набрасывались картежники с гиком и матом:

— Опять за книжки, мать-незамать!.. Эй ты, куренок (в отместку за «скобаря», меня дразнили «куренком» — бранная кличка курянам), сократись! Не загораживай лампу книжками твоими дурацкими!

— Да ведь лампа — для всех?

— В карты мешаешь играть!

— Скорее вы мне мешаете читать.

— Поговори еще тут!

— Но... — возражаю робко.

— Без всяких «но». Катись! Харю разобьем!

Безусловно, разобьют. Выкатываюсь в смирении.

— Душа из тебя вон! — напутствуют меня «скобари».

Брожу «вдоль улиц шумных». Вечером становлюсь в очередь у ночлежки. «Местов нет». В ночных чайных — то же самое, да вдобавок там — шпики. Куда деваться?

Один приют — «во многолюдном храме», в церкви Спаса на Сенной, где служба шла, слыхал я, беспрерывно, со всенощными бдениями. Волей-неволей отправляюсь на бдения. Но..

в первую же ночь, расположась в притворе, будто в номере гостиницы, засыпаю сладко. В головах у меня вместо подушки, — чую сквозь сон, — какое-то бревно, да мне — начхать на эту мелочь! Только перед рассветом слышу, верещит мое бревно:

— Вставай, чудило-мученик! Обедня началась, а он дрыхнет! Бди!

— Што-о?.. Какая обедня? Выспаться не дадут! — бормочу.

— Ты хто?.. Блатной?!.

— А ты кто? Шпионка?..

Бревно в моих головах оказалось — старушкой-богомолкой, такой же бездомной собакой, как и я. Мы скоро помирились.

— Не ругайся, старушка божья, — говорю.

— А ты — бди!

Став в углу, я бдил...

Это тянулось с месяц. Днем ходил на работу, а ночью бдил. И только когда удалось мне нанять новый угол в деревянном флигеле, где-то на окраине города, бдения мои в притворе церкви Спаса на Сенной прекратились.

А старухин визгливый голос долго еще преследовал меня:

— Бди!

38. На берегах Невы

... В деревянном флигеле — шум, жулики, «девочки». А средь них — я.

... Надевал, например, поверх пальто — пиджак. Ночью вместо туфель на ноге оказывалась шляпа или что-нибудь в этом роде. Папиросу

совал в рот зажженным концом, обжигал себе губы. Раз надел спросонья даже юбку какой-то угловой обитательницы вместо собственных брюк...

«Невроз»... Неприятная штука. Я слыхал, что все знаменитые поэты отличались рассеянностью. А мне говорили, будто я «представляюсь», тогда как я страдал от этого глубоко и неподдельно.

Ладно, чорт с нею, с рассеянностью!

... В надежде встретить светлоглазку, ту, что когда-то улыбнулась мне в розовых кустах на вечерней заре, словно сама красота, иду на набережную Невы, воспетой всеми поэтами. Умиляюсь шири и мощи царственной реки... Спрашиваю какого-то прохожего рассеянно:

— Не видали ли тут... ну, случайно девушку-светлоглазку?

— Ась? Пучеглазку?

— На берегу Невы... — бормочу как бы сам с собой.

— Невы?

— Невы.

— Какая же это Нева? Это Обводный, — презрительно щурится прохожий. — Необразованность!

«Ладно», — утешаю себя.

Иду в храм искусства, в музей-академию: надо же изучать столицу...

Оказывается, музей тут же, за углом. Картины видать через широкие окна с улицы.

«Но, зачем здесь крики... и звон бутылок... и табачный дым? Неужели же и здесь, в музее, не встретить моей Музы, моей девочки с светлыми глазами?»

Все музы обитают в музеях-академиях, — громко говорю я.

— Музей? Академия? — переспрашивает у меня кто-то насмешливо — из-за столика. — Ого! Трактир это, брат, ресторан, а не музей!

И добавляет уже сочувственно:

— А ежели девочку тебе надо, так за углом, на тротуаре. Которая с папироской.

... Час от часу не легче. Бреду вслед за пьяной оравой моих случайных приятелей, с отчаяния, в трактир, чтобы залить горе. «Нет местов», — в трактире-то.

... Я в ночлежке. Пир горой! На последнюю пятерку...

— ... В чем мое горре, товварищи, дрруги? В том, что не овладел хорошо грамотой. Знаки какие-то препинания не словил... Интеллигенты вы дохлые!.. Да я в степи у волков обучался наукам!..

Так изливался я перед ночлежниками. Раззванивал, пока не дозвонился до белой горячки... А потом — больничная койка. После больницы — голод, дикий уличный бред... Точка.

... Голод заставил меня петь любимые мои песни, русские старые стихиры (в качестве компаньона некоего нищенствующего учителя-бродяги). Но вот горе: за первую же мою песню отвели меня в участок. Даже чуть было не выслали: трешка учителева спасла. Я воспевал Стеньку Разина, бунт и вообще кровопролитие.

Но я уже знал, что делиться песнями да сказками на улице невыгодно: никто ничего не дает.

— Да, — говорит учитель: — дадут разве за

кровопролитную твою дурацкую песню? Самого тебя надо избить в кровь!

И он, грозя железной палкой, приказывает мне петь... Лазаря.

Тогда я запевал Лазаря...

И все-таки никто ничего не давал.

Расстались мы вечными врагами из-за того, что я обозвал учителя-друга буржуем. У него побренькивали-таки деньжата.

39. Самоучка

Из пальца не высосать песни или рассказа. Надо больше бродить по улицам столицы. Изучать Петербург с его трущобами и дворцами. У меня, как я уже прокричал об этом на всех перекрестках, в голове — целый короб готовых песен, сказок... Их я могу опять-таки рассказывать и петь по трактирам, по чайнушкам, по пивным... А то и — куда ни шло — печатать в газетах. Ведь я же этим буду одарять. Не я людей, а они меня должны будут благодарить за то, что открыли мои песни.

Это да еще надежда встретить мое счастье... где-нибудь на набережной Невы, да изучение столичной жизни — все это и унесло меня в новый мой кошмар-бред. Словом, я влюбился в Петербург, в туманную и загадочную северную столицу...

Прекрасен гранитно-оранжевый Петербург на закате. Дворцы набережных — точно маги, столпились стройным строем в башнях и латах. А там, у взморья, великаны-корабли, верфи с поднятыми вверх руками-кранами, частокол

фабричных труб, рев гудков и сирен, лязг железа, вздохи паровых молотов, визг сверл стальных. А на волнах фонари-факелы, зажженные по вечерам, точно огненный дождь...

Незабываема северная столица по вечерам. Куда манит недостижимый закат лазурного взморья? От зари до зари бродил я по улицам, набережным и островам любимого города.

Трущобы и подвалы его казались мне тайниками, откуда бьют неиссякаемые ключи жизни, загадок и скрытых сил.

Сводила меня с ума синяя в красных зорях Нева. Кружили мосты — взмахи неведомых крыльев с ожерельем огней, повисших сказочными аркадами над волнами.

Что до того, если по этим мостам, по этим набережным мчатся автомобили пройдох и жуликов? Здесь, казалось мне, даже пройдохи и жулики, даже убийцы как-то обтесаны, что ли, приглажены по-европейски.

И питерский рабочий — ведь это европейский рабочий.

Опять провал: редактор «Новой газеты» засыпался на год в крепость за рабочую хронику. Перед тем как садиться, он как-то сказал своему преемнику:

— Тут к нам самоучка один ходит... из рабочих... рабочая хроника у нас ликвидирована. Так вы дайте ему работу по общей хронике, что ли... Работать он может, хоть и самоучка.

Это говорил Н. Н. Долгов.

Итак, обо мне узнали, что я «самоучка». В коллегии репортеров возмущались студенты и дантисты:

— Чорт знает что! Дают работу какому-то безграмотному человеку... А нас лишают заработка.

Ладно. Молчу. Во всех репортерских промахах: пропущенное собрание, прозеванная новость, — во всем был виноват я.

— Это все он; человек каждое слово с ошибками пишет... Чорт знает, что такое... А зарабатывает не меньше нашего.

А зарабатывал я всего десятку в неделю: их я теперь употреблял на книги. (Посещал лекции, ходил на концерты — бесплатно — по корреспондентскому билету, также — театры.) И вдруг — я опять остался без гроша в кармане, без работы, без всего. Произошло это просто: «Новую газету» прихлопнули.

За день перед тем коллеги-хроникеры все еще волновались, требовали моей «крови».

— Безобразие. Опять пропустил собрание... Исключить его из коллегии!..

Как будто бы от этого зависело их счастье. Но когда всех нас исключили, мы все уже с одинаковым правом вздохнули свободно: «счастье» ото всех ушло.

Целая орава сотрудников выброшена на улицу. А контора не только не давала выходных, но зажиливала и старый заработок. Коллегия потребовала неустойку (по словесному договору), надеясь захватить деньги, что остались в кассе конторы.

Но... постигла неудача.

В газете печатал свои вещи Арцыбашев (между прочим, отрывки из «Санина»).

Оказалось, денег Арцыбашев не получал еще.

В день закрытия газеты нагрянул он в кон-

тору. В накидке-разлетайке, в смазных сапогах, в бандитской широкополой шляпе, с суковатой палкой в руке. Грохнул костылем о стойку кассы и потребовал безапелляционно:

— Если мне сейчас не уплатите полностью, я изобью вас тут всех, а деньги свои возьму сам.

Деньги ему немедленно выдали: все, что было в кассе.

А мелюзгу... постигла неудача.

40. Мой однофамилец

А я не сдавался... Бог революции мне помогал.

... Печатал статейки, стишки в левой «Русской жизни», в «Двадцатом веке», носился по собраниям, строчил отчеты о революционных митингах. И я вспоминал тут, как год назад встретил однофамильца.

Был конец тысяча девятьсот пятого года. Советы рабочих депутатов! Учредительное собрание! Дума! Вооруженное восстание! Бойкот Думы! Класс против класса! — вот кличи тех дней.

Кажется, в театре «Неметти» или в «Доме рабочих» Паниной — на Тамбовской улице — митинг эс-деков.

Зал клокотал. «Да здравствует Учредительное собрание! Долой!» (Старичок что-то кричит, машет руками — его не слышно.) В толпе — яблоку негде упасть. Долгий звонок. Тишина: шелестит загадочное слово — «он», «он здесь», «он будет говорить». Я сутулюсь рядом с другими хроникерами у стола президиума. Гово-

рили ораторы — эс-деки, эс-эры, кадеты... Мы бурно выражаем свои восторги самым крайним левым, а умеренных, не стесняясь, поносим (в репликах). Председатель — старичок — глядит на нас взглядом ехидны. Но буйство молодой толпы, таинственное слово «он», что жужжало у самого старичкова уха, смиряли бессильный, председательский колоколец.

Ораторы сменялись один за другим.

Старичок-председатель пробормотал вдруг:

— Слово имеет... товарищ Карпов.

Обалдело глядел я на старичка. Мне, что ли, слово? По корреспондентскому билету, перед тем зарегистрированному в президиуме, старичок мою фамилию знал. О чем же мне говорить?

Но... слово имел Карпов, да не тот.

Лица его я еще не видел (я сидел боком), голоса не слышал. Он еще не говорил, а только перебирал за трибуной какие-то свои листки, что-то писал карандашиком. Но ток от него, невидимые лучи, что ли, пронизали толпу. Зал задрожал от криков, топота, плеска рук. Оратор заговорил,— сначала тихо и медленно, потом, по мере того как разрасталась буря в пальцах коротких рук, взмахивал руками, как бы рубя воздух, по мере того как к вискам не то красной, не то фиолетовой волной подступала кровь, — заговорил быстро и стремительно... Говорил он с час, но — ни одной запинки, ни одной паузы: не речь — это электрический ток, который, хочешь или не хочешь, поражает, сковывает, полонит...

Когда оратор кончил, я вслед за репортером-приятелем кинулся благодарить однофамильца:

— Благодарю от души, товарищ Карпов... Я — ваш однофамилец... — выпаливал я залпом.—Так!.. Крушить буржуев образованных... правильно!

— Образованных?—щурил глаза однофамилец.

— Да. Образование — тот же капитал... Даже еще более страшный и неуязвимый, чем... золото... Золото можно отнять у буржуев и поделить, а знание у образованных — не отымешь. Не поделишь.

— Махаевец? — лучисто улыбается однофамилец в пушистые рыжие усики.

И роняет как бы мимоходом, спеша куда-то:

— Мы сделаем знание достоянием всех. При социализме не будет необразованных.

— Значит, все будут образованными? Буржуями? С неуязвимым капиталом-знанием?

— А разве рабочий с образованием — буржуй? Ведь это же — махаевщина.

Пока я размышлял над тем, что значит «махаевщина» (после я это узнал), он исчез.

Толпа неистовствовала, накаленная речью-током. Казалось, — здесь где-то близко этот провод неведомого психо-электричества, — и этой сокрушительной силы не избыть.

Встреча потрясла меня. Я не подозревал, что в России есть оратор — мой однофамилец, который владеет уже умами рабочих масс. Однофамилец — товарищ Карпов...[1].

Это был, как я потом узнал, — Ленин!

Зимой 1906 года по вечерам в редакцию «Русской жизни» заходил товарищ Абрам, курносый,

[1] С конца 1905 по 1909 г. В. И. Ульянов-Ленин выступал под псевдонимом Карпова и Ильина.

низкорослый, плотный студент. Русая откинутая назад шевелюра. Четырехугольный подбородок. Глаза жестко ясные, неустрашимые. Ядовитый рот с горьким изгибом. Митинговал он мастерски, и ораторский дар его в то время известен был всему Питеру.

Ему, кажется, поручено было держать газетишку на вожжах, чтобы не забегала, куда не след. Дело в том, что при выборах во вторую Думу сколочен был левый предвыборный блок— против буржуазных партий. «Русская жизнь» с «Товарищем» поддерживала левый блок. Товарищ Абрам помещал у нас иногда статьи.

... Как-то вбегает он в репортерскую нашу комнату, размахивая свежим номером газеты, кричит азартно:

— Кто это из вас, черти полосатые, напутал? Буду драться... В отчете о вечернем митинге в Соляном. Я ведь там даже не был...

Кто-то говорит, смеясь:

— На десяти митингах ведь вы вчера были, товарищ.

— Чорт знает что!

Отчет был мой. С достоинством напоминаю сердитому студенту:

— Не кричите. Выступали вчера вы, действительно, на нескольких митингах... А в Соляном или в Калашниковской — не все ли равно?

— Бесполезный народ — поэты, — бросает товарищ Абрам, и тут же протягивает руку с широкой улыбкой: — Ладно, чорт с вами.

...Когда кампания кончилась, товарищ Абрам, отряхая прах «Русской жизни» с ног, сказал как-то:

— Уезжаю. Опускайся, куме, на дно. Буду писать книгу. Но мы еще придем.

Скоро закрыли и «Русскую жизнь». Товарищ Абрам исчез и больше я о нем не слышал, так как обещанная им книга не появилась.

Услышал я о нем снова только после Октябрьской революции, когда появился декрет Совнаркома о назначении товарища Абрама (Крыленко) верховным главнокомандующим вместо Духонина.

И я вспомнил его слова: «Мы еще придем!»

41. Факты

Факты, от которых в юности я поседел.

Меня потянуло на родину — проведать родных и близких, разделить с ними мои надежды, печали и радости... Поэт, я рвался в степь — творить, «создавать шедевры» в деревенской тиши, где-нибудь в надречной хибарке, одарять счастьем всех, кто обижен жизнью... Но, приехав в деревню, уже у порога землянки узнал: брат Миколай погиб где-то на стройке (кажется, в Николаеве). Дядю Андрея доканала непосильная работа: умер за сохой в поле, на помещичьей земле. Дядька Петро сгорел где-то на стороне: «жила лопнула».

Родные братья — в тюрьме. Мать — в постели, скованная болезнью сердца. Отец — в могиле: обгорел на пожаре, когда подожжена была, в полночь, наша хибарка... Сестренки — измучены поденщиной, оборваны, — в пожаре все сгорело.

Пожары происходили так: помещица, мстя

за забастовку, наняла работника-поджигателя, который по договору жег избы крестьян-забастовщиков добросовестно и аккуратно, точно совершал богослужение; когда его словили с поличным, он предъявил договор свой с помещицей; урядник, взяв с помещицы взятку, дело «затушил». Меня урядник разыскивал, чтоб «загнать туда, куда ворон костей не заносил». Сестренки рассказали все это, подметая землянку (опять землянка). И, плача, твердили одно: «Уходи, убьют».

Кто мог «затушить» эти раны? Сам я, отправляясь — в день приезда — обратно в Питер, мог только за один этот день поседеть.

... Опять я «на птичьих правах».

... «Король столичных репортеров» и друг рабочих, жарящий в «Товарище» фельетоны под рубрикой «из бюрократических сфер», жестоко издевающийся над «правящей Россией» (подписывались фельетоны: Львов), как-то предлагает мне:

— В Москву поедете? На съезд правых.

— ??

— Будете писать корреспонденции — фельетоны. Хоть по пятьсот строчек в день — все напечатаем в «Товарище».

— Боюсь, не справлюсь...

— Не боги горшки обжигают.

— А пустят меня на съезд?

— В этом-то и загвоздка. Съезд закрытый. Московские репортеры потеряли надежду попасть на съезд. А вам нужен заработок. Жарьте в Москву... Мандат там ихний какой-нибудь соорудим. Летите.

... Приехал в Москву, — оказалось: съезд — миф.

Очутился я «на птичьих правах».

И вот обозреваю Москву белокаменную с птичьего полета. В кармане — ни гроша, зато слава хороша. В этаком-то городе, да не найти работы поэту?

Стучусь в редакции московских газет: не знают такого, не читали, да что, собственно, мне надо?

— Денег мне надо, — говорю.

— Если бы пришел сам Лев Толстой, — отвечают, — так и ему бы не дали денег: от прав на литературные свои произведения он отказался, а газетную работу, извините, у нас выполняют рядовые работники гораздо лучше, чем всякие там самоучки (это говорил редактор «либерального «Русского слова» Благов).

Брожу по гнусным, узким, заваленным лотками переулкам, тупикам: тоска, отчаянье, смерть. Откликнись, моя любовь! Быть может, ты здесь, в этом азиатском городе, — из-за тебя я брожу по нему и не нахожу нигде ответа?

42. Москва с птичьего полета

Все может быть. Даже то, что она здесь, в этой трущобе, в Москве, с ее азиатскими кривыми улицами.

Но... я встретил в ночной чайной в облупленном кривом переулке не ее, а нечто другое: пьяных проституток, спящих прямо на столах, с мордами, уткнутыми в селедочные объедки и разбитую посуду. И еще напоролся: на сутенеров, воров, поножовщиков...

Куда я ни кидался, везде встречали меня или жулики и обдиралы, или душители, норовящие вцепиться зубами в горло «самородка». Как бы для того и теснились бестолковые эти гнойники-домишки, чтобы лучше было заманивать к себе жертвы, и тут, в мраке каменных коробок, высасывать кровь.

Проходили тупорылые шатуны, издеваясь, спрашивали со смехом:

— Ты что тут бормочешь? Пьян, что ли?

— Пьян — от горя. На птичьих правах.

— Э, брат, Москва слезам не верит. Не полетишь.

... Торчал тогда в Москве долго. Думал: есть же тут культурные люди, люди творчества, а не мошны.

... Из разговора с Валерием Брюсовым в ту пору: о творчестве.

Он стоит у окна в своем кабинете, на Мещанской, скрестив по-наполеоновски руки.

— Из современных поэтов кто вам больше всех нравится?

Я смущенный, бредовой, с краешка стула:

— Верхарн... Впрочем... французского языка я не знаю... По переводам только...

— Вы самоучка?

— Да.

— Так вот... У вас есть талант. Нужна работа, нужна культура... На скорый успех не надейтесь. Делать из вас бум — вредно и для вас, и, главное, для общества. Венчать славой, рекламировать самоучку — чрезвычайно опасная вещь теперь. Это значит — короновать «гуляку праздного». А еще не известно, что он

натворит, этот гуляка, надев корону. Быть может, он всех поведет нас под нож гильотины. Во время французской революции... это было.

— Поэт и гильотина — вещи несовместимые...

— Вы — революционер?

— Неудавшийся.

— Все горячие головы, будьте уверены, начинают со стихов, а кончают прокламациями. Впрочем, я не против прокламаций. Я — за революцию, только против гильотины. А вы — за?

— Нет.

— От сумы да от тюрьмы, как и от гильотины, отрекаться не приходится. Но к чему, собственно, этот разговор? А вот к чему: богатство и бедность не имеют никакого отношения к творчеству. Рукавишников (есть такой поэт из миллионеров), например, тяготится богатством... Уверяет, что оно ему мешает писать гениальные вещи. А вы вот говорите, нищета мешает... Все это вздор. Творить можно одинаково успешно и во дворце и в сыром подвале, если вы одарены из глубины чувством и мыслью... Хоть кое-где и проскальзывает озарение... Не смущайтесь, творите в подвале.

— Но я могу ослепнуть в подвале-то.

— Мильтон — в Англии, у нас — Козлов писали слепыми.

— Понимаю.

— Трудно творить. Это не лапти плесть.

Я встал, чтобы уйти.

— А из прошлых... поэтов, кто вам нравится? — желая, очевидно, сгладить резкость, переменил Валерий Яковлевич направление разговора.

— Признаться я еще только вступаю в этот

загадочный вековой лес... Пушкинский «Медный всадник»... еще прочел «Гамлета», «Макбета»... Шекспир — вот маяк...

— Это хорошо. Прочтите «Божественную комедию» Данте, «Фауста» Гете.

Откланиваясь, я только мог пробормотать смущенно:

— Обязательно прочту.

... Через десять лет: в Гизе, где был я — секретарем одного из отделов, а Валерий Брюсов — редактором художественного. Говорит Валерий Яковлевич:

— Здравствуйте, товарищ Карпов!

— Здравствуйте, товарищ Брюсов!

— Вы теперь большевик, конечно?

— Не вытанцовавшийся.

— А я — вполне.

— Но все-таки вы... против гильотины? Во время французской революции... Помните, дореволюционный наш разговор?

— Разумеется. Но я — за ВЧК.

— Не потому ли, что вы поэт?

— Возможно.

43 На острие... «Треугольника»

Но возвращаюсь к девятьсот восьмому году. Я у брата, рабочего, опять в Питере.

— Подрались мы с тобой, Лешенька... Не казни. Доставай работы на фабрике... Стихом не пропитаешься...

— Белогорячечник чортов,—кривится брат.— Скандалов с тобой не оберешься...

— Конечно. Смирись, гордый человек.

— Ой ли?

— Клянусь рогами сатаны! Помоги устроиться.

— Попытаюсь... Чернорабочим, пожалуй, только... На «Треугольнике» у меня знакомый мастер... Ты ведь работал там?

— Высадили.

— За что?

— За ябеды газетные.

— Значит, заткнись.

— Есть.

Опять я — на «Треугольнике». Скребу, как и встарь, ржавые старые шины. Перебрасываюсь иногда словцом с товарищами, балагурю: маета.

— Эй ты, шляпа, шевели ногами, не чеши языком!

Я немедленно же взрываюсь ракетой:

— Я тебе не шляпа... А вот тебе, холуйская рожа, по шляпе дать — могу...

— Мне?.. Мастеру?..

— А то кому же?..

— Ага. Так и запишем... ррасчет с завтрашнего дня. Туда же — фардыбачить...

В неистовстве у станка описываю полукруг, лечу дальше и выше, взрываясь:

— Товарищи, что ж это такое?.. Второй раз вышибают...

— Этого так оставить нельзя, — срываются вдруг вслед за мной и соседи. — А ну, ребята!

Товарищи возмущены. Бросают работу, бегут по корпусу, машут руками.

— Опять этот мастер Марыкин! Подхалимничает, жилы тянет, вышибает ребят ни за что, ни про что.

— Выкатить на тачке пса!
— На тачку!
Мастер ревет, взбешенный:
— Полицию позову!
— Зови, чорт с тобой! Тачку!

Толпа вываливается на двор. Десятки рук водружают меня, точно трофей, на бочку: «Говори!»

А Марыкина, точно падаль, грузят на бочку: «Вези за ворота пса!»

... Городовой схватывает меня за ноги. Потом подбрасывает на кулаках. Толпа гонит фараона взашей. Свалка, визг, гвалт...

Проваливаюсь, будто в яму. В ушах гул и звон, огненная волна захлестывает сердце: смятение, удушение, белая горячка. Больничная койка, бред...

Отлеживался в Обуховской больнице. Вот место, откуда одна дорога—в могилу. Но все еще мечтал я о жизни, о творчестве, о славе, о... бунте.

44. У старика художника

Открытка: «Ваши стихи прекрасны. Хвала! Мне надо вас видеть. Заходите. Крепко жму руку» (по памяти—весь мой архив расхищен).

Открытка была от старика И. И. Ясинского (Максима Белинского), редактора «Нового слова».

Зов мне как раз был кстати. Дело в том, что дворники не давали мне покою, болезнь подтачивала меня. Я вынужден был скрывать свое местожительство, валяться в ненавистной

мне больнице в селе Рыбацком, на окраине Питера. Двинул в Новую деревню.

... Жил я у старика И. И. Ясинского, в его флигеле на Черной речке.

Сам старик писал больше для себя, печатал мало. Жил замкнуто, в белой пурге буйных своих волос, в мечтах о прекрасном. Под старость потянуло его опять к стихам, к краскам... О нем распускали недоброжелательные, фантастические, нелепые слухи. Причиной тому служил характер прежней газетной работы старика. Работу в газетах он бросил давно, но старая ненависть к нему, порожденная этой работой, осталась.

— Бедные они...—говорил о своих врагах старик: — не подозревают, что теряют-то в конце концов они, а не я.

И добавлял:

— Так и знайте, милочка, бедны не вы, а ваши враги, ибо они лишены той радости, которой дышите вы. Если, скажем, какой-нибудь болван не хочет читать Пушкина, то, спрашивается, кто теряет: он, этот болван, или Пушкин?

Как-то, узнав, что я продолжаю уделять время газетной работе (это был мой черный хлеб), старик заметил строго:

— Бросьте, милочка, газетную работу. Для поэта — это гибель.

— Я пишу в газетах, — отвечаю, — для того, чтобы писать стихи... и печатать.

— Песни ваши не умрут, если даже не будут напечатаны. И, наоборот, разве мало напечатанных стихов кануло в Лету? Журналисты печатаются изо дня в день, а все-таки их писания — не литература.

— В газетной работе, говорят, оттачивается стиль...

— Стиль-то стилем, но если бы Шекспир работал в газетах, он ничего не оставил бы миру, кроме заметок о плохом состоянии мостовых в Лондоне или о борьбе придворных клик. Пушкина довела до гибели необходимость заниматься журналистикой. А сколько газетно-журнальной трухи в «Дневниках» Достоевского. Да мало ли!

— Но я грамоте учился по газетным листкам.

— В том-то и беда ваша, что учились вы по газетным листкам. Но одно дело учиться грамоте, и совсем другое — творчеству... Художественному...

— Но роль журналистики в современной жизни огромна.

— Роль эта чисто утилитарная. Писатели странным образом связаны с журналистикой: в этом в большинстве случаев их хлеб и... гибель.

— Где же выход?

— В революции, милочка. Журналистику тогда заменят речи ораторов. А за писателями останется одно только, но зато исконное их право — быть художниками.

До новой революции, по всей видимости, далеко. Значит, газетная работа пока что — мой хлеб и... моя гибель.

Забрел в «Речь», вернее, в филиал «Речи» — в «леводемократическое «Современное слово», к редактору И. В. Гессену.

Говорю ему:

— Я самоучка, крестьянин... Работал во многих газетах... Теперь их закрыли... Вы, товарищ Гессен... (такое тогда было еще модное

слово), вы, товарищ Гессен, понимаете, что самородки на свете редки. В России они только водятся, а за границей их уже нет... Так вот, поддержите меня, товарищ Гессен. Дайте работу... Три дня не ел... не спал — негде. Меня ценит старик Ясинский, да и вообще...

Но вместо ответа «товарищ» Гессен нажимает кнопку. Кричит грозно вошедшему служителю:

— Без доклада ко мне никого не пускать, болван!

И уже мне — злорадно вдогонку:

— Старик Ясинский!.. Мы его знаем!..

... Помню, тогда почему-то больше всего поразил меня не отказ, не страх голодной смерти, а то, что «товарищ» Иосиф Владимирович назвал сторожа болваном, вместо того чтобы назвать его товарищем.

45. За один зуб—всю челюсть

... Куда только ни заводила меня «девушка с светлыми глазами»! Какие невероятные встречи из-за нее, но не с ней.

В поисках ее зашел как-то в... религиозно-философское общество.

И вот «папа» неохристиан Д. С. Мережковский подвергает меня допросу. Допрос ведется с пристрастием:

— Кто вы? Како веруете?

— Крестьянин. Взыскую грядущего града.

— Где учились?

— Нигде. Самоучка. По букварю в степи начал, по вывескам в городе кончил, «Откровением духа»,

Проходим в гостиную, садимся за общий стол. За столом, с другого конца — кто бы мог сказать? Туляк — столяр. Но он сделал вид, будто не замечает меня. Он или не он? Если бы это был и не он — должен бы быть им: тот же вопросительный знак в сутулых плечах, и в глазах та же ненависть неизвестно к кому... Но тут же я узнал к кому.

Мережковский ехидно улыбается. Мне:

— Лучше бы вы кончили университет, да одевались бы хорошо.

Суть в том, что швейцар долго не пускал меня в аристократический дом, где жил Мережковский, из-за плохой одежды.

— А что?.. — огрызаюсь.

— Страшно, вот что.

— Но... чем же я виноват?

— Тем, что рассказываете о всеобщей нашей гибели — в близком будущем... Не надо об этом рассказывать. В том-то и спасение человека, что он не знает ни дня, ни часа своей гибели. Страшная ваша книжка (книжка эта «Говор зорь» вышла незадолго перед тем), да и ваши письма говорят об одном: о гибели России. А что всем нам делать, я и сам не знаю... Дело, конечно, не в одном хлебе... или землице... Я согласен умереть с голоду, но чтоб не было того, о чем вы говорите. Вот вы в стихах и письмах предрекаете страшную какую-то войну. Так, что ли? Мобилизованные мужики побегут, по вашим словам, чтоб «землей заручиться», потом произойдет всеобщий бунт, в котором все интеллигенты будут перерезаны. Вот ваше письмо. Кошмар какой-то. Это вы писали?

Действительно, я. Был «грех». Роковое,

преступное письмо лежало на столе. Откуда я выкопал тогда, в 1908 году, грядущую войну, — чорт его знает. Но в письме об этом говорилось, как о самой простой вещи.

— Куда итти? — в отчаянии вопит Мережковский.

— Итти... с народом, — говорю я.

— А ежели народ... зверь?

— Значит, вы — враг народа?

— Не знаю. Но вы-то, вы что намерены делать с этими... «врагами народа»?

— Отмстить врагам победой. Народ — не дикарь.

Но загадочно сверкнул глазами с другого конца стола — Туляк. Не глядя ни на кого, вдруг стукнул кулаком по столу, взвизгнул яростно:

— Месть — да! Но не добром, а злом! За один глаз — оба глаза. За один зуб — всю челюсть! Больше того: за одну смерть—тысячу смертей!

... Зинаида Гиппиус, жена Мережковского, упала в обморок. Тут же за столом.

Через несколько лет разразилась мировая война, запахло близкой революцией. Тут уже и Зинаида Гиппиус раскаялась в своей истерике, и заиграла в революцию, да было поздно. Туляк везде, где только возможно, издевался над ней — прямо, можно сказать, вгонял ее в чахотку. А Мережковскому сказал где-то на вечере:

— Спета ваша песня, господин хороший. Не нонче-завтра возьмем вас под жабры — запищите тогда, как дохлый комарик!

Чтобы оправдаться перед Туляком, Мережковский начинал распространяться о своих

несуществующих революционных заслугах, о том, что, дескать, он жизнь отдал народу, помогал самоучкам (он тыкал при этом пальцем в мою сторону). Он — за революцию.

В февральскую революцию, помнится, он ликовал. Преисполнился ко мне, да и ко всем рабочим какой-то «отеческой» нежности: «Возрадуйтесь, дескать, дети мои! Обнимите бабушку Брешку!»

Но вот грянул Октябрь. Закликушествовал Мережковский, заулюлюкал:

— Дождались! Вогнали в гроб... Ты кто — большевик или меньшевик? — допрашивал он меня где-то на митинге. — Ангел или чорт?

— Известно кто — пролетарий.

— Тогда ты — хуже чорта! — взывал он. — С нами крестная сила!..

Так, крестясь и кликушествуя, удрал он потом за границу. И там, говорят, изошел в кликушестве.

46. Встреча с Толстым

Но... от всех бед жизни спасала меня любовь.

И Лев Николаевич Толстой — в первом же ответном письме ко мне (в нем речь идет о книжке моей одной: «Говор зорь») — говорил извнутри, голосом великой любви, но и упрека:

«Книга ваша понравилась своей смелостью мысли и ее выражения. Для того, чтобы высказать горькие истины образованным, нужно в наше время гораздо больше смелости, чем для того, чтобы высказывать их правительству...»

... Обрывок — конец из того же письма;

«... Сколько вам лет, женаты ли вы? Любящий вас Лев Толстой».

Отрывки оторвал кто-то «с руками» и унес, точно крот в нору. Ничего не осталось.

... Остался разговор при встрече. Разорванный. Дело было так. Поздним летом 1909 встретился я с Львом Николаевичем с глазу-на-глаз в парке Ясной Поляны. Подкараулил я его на прогулке, чтобы у дома не попасть «под дерево нищих».

Вижу: нахмурился лесовик — борода с загривком — снежная туча, бровастые глаза зеленоватые — глаза колдуна.

Говорит он:

— Это вы и есть? Да вы совсем еще молодой. Бритобородый. А в висках — седина. Странно. Я думал... вы... старше и с бородой. Кто-то говорил мне про вас... А я не верю. Да вам, собственно, чего надо? Поговорить?.. В газетах пропечатают? Не люблю я этого... Вы письмо мое пропечатали...

— Приятель один, газетчик, сдуру, вырвал из рук и пропечатал.

— А вы не ругайтесь. Нехорошо. Это мои там секретари насчет пропечатки письма протестуют... Их дело... А вам скажу: не лезьте на рожон — съедят с костями... образованные эти... Берегите ваш внутренний сокровенный мир — это главное...

— Вы сердитесь на меня, Лев Николаевич?

— Нет, нет, что вы... Я вас люблю... Страдания ваши люблю.

— Спасибо, Лев Николаевич... За любовь... А в доме — секретари?

— Да нет, приезжие, — говорит Лев Николаевич.— Двое их... эти самые газетчики, гости. Из Москвы. Сидят сейчас в доме, нюхают. Я и ушел. Не люблю... Пойдет трезвон. Это, положим, их хлеб, я их не осуждаю... В другой раз как-нибудь поговорим. Непременно...

По памяти (архив сгрызли крысы и ищейки):

«... Разных Сологубов у вас читают, а это— кто же будет читать?.. Какой-то Пимен Карпов!.. Чудесная эта его книжка: «Говор зорь». Прочтите непременно...»

Это — отрывок из разговора Льва Николаевича, напечатанный, кажется, уже после его смерти Малахиевой-Мирович (в «Русской мысли»).

И перед самой смертью Льва Николаевича и после много разговоров ходило средь «братьев-писателей» по поводу писем Льва Николаевича ко мне:

—... У него — реликвии: письма Льва Николаевича... Какое счастье!

А спустя пять лет:

— ...Возмутительно... он хочет согреться в лучах чужой славы. Я бы разорвал его за это...

— Разорвать — мало!

Из невольно подслушанного разговора «братьев-писателей» в годовщину смерти Льва Николаевича в ноябре 1915 года на траурном вечере, в Тенишевском зале, в Питере; месть.

Нет у меня ни одной реликвии: письма Льва Николаевича ко мне растасканы «собирателями». Одно, предсмертное, в подлиннике — у Василия Каменского, другое взято и изорвано при обыске, третье — еще у кого-то.

47. Конец Никитича

В одну из весен вернулся я в родную деревню — строить хату. Забастовочное дело мое — прекратилось: под какую-то амнистию попало. Да и Картузов, писали мне, исчез, — перевелся куда-то приставом.

И увидел я... в семье — та же нищета.

Разгром и развал. А кругом — волчья сыть.

Бреду в соседнее село к Никитичу. Старик разбит. В засаленном пиджачишке, небритый, обрюзглый. Будто не узнает меня. А узнав, плачет. Точно помешанный, предупреждает полушопотом: надо держать ухо востро. Картузов переловил всех. А потом... сам себя отправил «в ссылку»... приставом». Но хуже всего то, что этот полицейский одно время якобы втерся в доверие товарищей. Самого старика извели обысками. Уволили со службы... Ждет новой беды какой-то, как вол обуха. Чем я мог помочь старику? Подавленный, ушел от него.

... Беда пришла тогда же.

Дело было так: Никитич налил в ствол заряженного ружья воды, всунул конец ствола в рот. И, нажав пальцем больной ноги собачку, выстрелил. Выстрел-взрыв оторвал голову. Но самой головы не нашлось...

В могилу Никитича земляки за «такую» смерть вбили осиновый кол.

Одна беда не в беду. Навязалась новая напасть.

Кто-то пустил по деревне слух, будто я — «чернокнижник»: напускаю мор и погибель на людей: разбойничаю, якшаюсь «с самим сата-

ной — древним змием». «Фершал Никитич, самоубивец, сосватал». Вообще исчадие ада — вот кто такой я, оказывается.

Толпа, собираясь у моей землянки, грозила мне самосудом.

Оказалось: путник-старичишка, давний мой «покровитель», ополчился вдруг на меня, потребовал моей крови. А я о нем и забыл совсем. Страшный конец Никитича напомнил о нем.

Бродил старичишка по деревням окрестным попрежнему. И вот в нашей деревне обретается теперь. Водит за собой толпу кликуш и юродивых. Прорицает близкое «светопреставление», громит «нечестивых». Совсем обезумел старик. На плечах — вериги, в руках — железный посох, увенчанный крестом. Босой, вместо одежды— рубище.

Еще издали, завидев меня у дверей землянки, орал исступленно:

— Чернокнижник!.. Песельник!.. Колдун!.. Отступник!..Смерть!..Фершалов выученик. Смертник! Пришел твой конец — вслед за фершалом в тартарары!

Тщетно пытался я его урезонить:

— Опомнись, дед. Ты болен.

— Лжа!.. Обман!.. Черную книгу ты любишь. Сожгу ее!.. Водружу книгу жизни!.. И вычеркну из оной имя отступника! Не жить чернокнижнику — хранцузу, разбойнику - грабителю!..

За ним толпа мужиков, высовывая из-за плетней свирепые свои бороды, трясла кулаками:

— Не жить чернокнижнику! Смерть!

Так приветствовали меня земляки.

... Живу.

Помогаю братишке, сестренкам в их маете. А хлеба нет. Нет работы, которая давала бы хлеб семье, облегчала бы жизнь больной матери..

Стихов набралось на целую книгу. И рассказов. И роман начат...

Соседи-земляки здесь, в деревне, ехидствовали едко:

— А не придется ль тебе, миляга, опять пасти стадо?.. Больно высоко летаешь, где-то сядешь? На черной своей книге...

— Наняли бы тебя, может, в пастухи... да не годишься теперь и на это.

В городе уездном, куда я ткнулся, пробуя найти работу, также ненависть, улюлюканье. Купечество и «интеллигенция» из купеческих сынков после победы над революцией совсем обезумела:

— По чем продаете Россею? — кричали купчишки, «интеллигенты». — Оптом или в розницу?

И при этом плевались яростно.

Сами же впрямь продавали Россию — грабежом. Когда я напоминал им об этом, на меня сыпались оглушительные аргументы.

— Мы тысячу лет собирали, ночей не спали, берегли... а вы за один год норовите ее по миру пустить с сумой. Бунтари. Придет время... на рельсах под колесами головы вам будем оттирать.

Так я и не нашел работы.

С детства я мечтал о земле, как о лучшем человеческом счастьи. И Лев Николаевич Толстой как-то писал мне в одном из писем:

«Живите в деревне, работайте на земле».

И я жил «на земле», обрабатывал с братьями

чужое поле: пахал, возил навоз, сеял, полол, жал, копнил копны, молотил, отвозил хлеб. Получал гроши. Братья, подсчитав результаты нечеловеческого этого труда, ругательски ругали меня и... Льва Николаевича Толстого.

... Нет счастья на земле!

... Иду в потребилку. Предлагаю свои услуги:

— Я человек грамотный... Написал книгу... Сам Толстой хвалил. Дайте работу. Авось, пригожусь. По канцелярии, например. По счетоводству.

Председатель потребилки, иконописный мужик из ямщиков, с бурой широкой бородой, в железных очках на пеньковой оборке:

— У тебя своя книга — бунтарская, а у нас — своя... Коли хочешь, носи вон мешки на складе. Грузчиком. А тут с книгами мы сами справимся. Случае чего — и без книги можно. У меня может, в голове — вся книга. Плевое дело..'

48. В артели

... Больше моя нога не ступит на эту «родную землю». Отряхаю прах ее с моих ног. Кончено с деревней.

Там у меня осталось: до сотни родственников — братьев, сестер, дядек, теток, невесток, зятей, племянников, племянниц, даже... внуков и внучек, — родных, двоюродных, троюродных... И все они — одичалые, подъяремные рабы, босые, голые, в кровавых мозолях — достают в нечеловеческом труде несчастный свой хлеб на скудной неблагодарной земле...

... Качу в Питер. Вваливаюсь к брату Алексею (к этому времени он уже оставил работу на

фабрике, чтобы «жить кистью». Но кисть его не накормила). Теперь у него комната — чулан в шесть квадратных аршин, плюс диван, плюс шкапчик, плюс товарищ-сожитель, тоже «живущий кистью».

И точно снег на голову — плюс я. Сколько плюсов!

— Ну, — говорю, — Алешенька... Принимай незваного гостя... Кончено с землей! С татарщиной этой!

Глядит брат быком.

— Татарин ты и есть, — говорит, — губитель моей жизни — вот кто ты. Ты мне всю жизнь мешал, а теперь опять лезешь?..

— Эка, — ответствую, — невидаль, жизнь!.. Одну загубил, за вторую берись. Загубил же вот я свою жизнь, а надежд не теряю. Теперь попробую второю жить жизнью.

Страшен, должно быть, был я в своих опереньях, если даже и эти безжалостные судьи — брат с товарищем — расщедрились вдруг:

— Чорт с тобой, живи второй жизнью. Нам не жалко! Лезь в шкапчик. Артель вывесочников организуем. Будешь помогать нам писать вывески. А может, удастся подряд где-нибудь взять богов малевать.

— Артель вывесочников? Это гениально! — вскричал я. — По вывескам я учился читать, а теперь буду — писать их... Это откладывать в дальний ящик нельзя. Сейчас же вывесим объявление... Идет?..

— Есть такое дело... — одобрил брат, повеселев. — Жарь объявление. На дверях вывесим.

И я схватываю впопыхах карандаш, бумаги лист, тороплюсь уже писать объявление: «Артель

вывесочников»... Но вывожу вдруг — сам не знаю как: «Артель висельников»...

49. Братья-писатели

... А братья-писатели, встречаясь со мной в литературном кабачке «Вена», на улице Гоголя, ехидно завидуют мне.

— Счастливец, жил целое лето в деревне!.. Как Леонид Андреев в Ваммельсу (деревня в Финляндии). Устроился тут, в Питере?.. Имеешь, несомненно, заработок?.. Правда, сапоги просят каши, и пиджак подгулял... Но это — твой стиль... Ты прямо — буржуй: обедаешь, верно, каждый день?

В том-то и загвоздка, что обедаю я — не каждый день.

Но... чорт бы побрал ее, эту проклятую жизнь!

Пока я «пристраивался» тут, в Питере, от следователя пришла вдруг повестка: «явиться в здание окружного суда для допроса в качестве свидетеля» по делу... об издании моей книги.

Знал я хорошо, что значит тут «свидетель».

Это значит: прощай мечты о творчестве, о Петербурге: в перспективе — «места не столь отдаленные», глушь и тьма.

Друзья-братья (не «братья-писатели») выручили. Сунули дворнику в зубы трешку, повестку вернули неврученной «за выбытием адресата в неизвестном направлении», а мне дали такой совет:

— Начхай на треволнения!.. Влюбись в первую попавшуюся женщину... Пой и пей! Мы

нашли работу недалеко от Питера... Богов малевать в дачной церковушке... Там и спасаться будешь... и помогать нам... Живи!

Я так и сделал...

В той же «Вене» и почти о ту пору повстречал как бы в тумане женщину. С маху вдруг заглянула мне в сердце, да и вскрикнула:

— Да это ж поэт! Гоп-ля!.. Чур—одной!.. Помолчим, юноша, убежим...

И поцеловала — открыто, просто и скромно, это уже, когда мы «бежали» на извозчике куда-то, на острова, что ли (была золотая осень). И я целовал ее доверчиво и нежно всю дорогу, а она, хохоча, задорно поддразнивала меня:

— Ох, юноша... Вы делаете большие успехи. Бедны вы все поэты, как церковные крысы... Но одно никто у вас не может отнять: вашей юности... Эван, эвоэ!.. — вскрикнула она.

Она была — эта женщина — человек с прекрасным сердцем, умница. Но странно: любила только за деньги. (Она была исполнительница каких-то романсов цыганских.) А так как денег у меня не было, то мы с ней скоро и расстались. Больше я ее не встречал.

50. «Храм Мельпомены»

... Она (не та, а единственная) — здесь.

Как-то в начале июня встретился в Сестрорецке один из приятелей-художников (из нашего содружества). Из-за угла дачного какого-то домишки поманил вдруг меня трепленьем руки, да и брякнул, сразу и без обиняков:

— Слыхал? Она приехала.

— Кто она?

— Томилина.

— Это что за птица?

— Высокого полета. Дьяволенок. Чертовски талантлива. Но театр ненавидит. То есть не театр, а себя, свою театральную карьеру... Была где-то на театральных курсах. С нею носились, да она все бросила, вышла замуж... Потом вдруг— опять сцена... И этот гастрольный наскок ее здесь— временный, ее каприз...

— Откуда ты это узнал?

— Я там работаю. Декорации пишу... Ну и актером иногда...

— Все это так. Но я то при чем тут?

— Как при чем? Она о тебе говорила. Но интересует ее не твоя мазня кистью... а твои рассказы... ну, там — стихи.

— А мне какое дело до всего этого?.. — путал я карты.— Мне,— говорю,— артистка Томилина и не известна совсем. А хотел бы я знать, что там у вас, в балагане, делается? Вообще.

— Балаган?.. — рассвирепел вдруг приятель. — Зверь ты беспонятный... Темнота... А еще поэт... Не балаган, а... а... хр-рам... храм Мельпомены... Да... Театр это, да не какой-нибудь, а оперно-драматический... комический, каскадно-лирический и всякий прочий... — хрипел приятель спьяна.—Какой же ты невежа! Да. Ну, есть зверинец поблизости... но это больше для низшего класса...— как-то конфузливо понизил он голос.

«Театр и зверинец, артистка Томилина и дьяволенок,— мотал я себе на ус, которого не было, хоть в висках и серебрилась седина. — А

на афише часто рядом с Томилиной имя: Дунаев. Кто же он! Актер? Укротитель зверей? Наездник? Да она, может, наездница, а не актриса?..»

И вдруг мне самому захотелось быть актером, наездником, заклинателем, чтоб попасть в тайники храма-театра, храма-зверинца, да поближе узнать мою «почитательницу».

— Как бы туда прострунуть?.. — колеся вокруг театра, спрашивал я приятеля. — Можно, например, мне?...

— За кулисы?.. — икал приятель, сдвинув шляпу на затылок: — отчего же нельзя?.. Я ведь сам иногда участвую в спектаклях ихних... Правда, на мелких ролях... ну, да со временем дадут и крупную...

Главное, я — декоратор. Я — истый любитель др-раматического искусства и актер в душе... Так за кулисы, говоришь? — чесал он в затылке, задумываясь. — Можно. Сегодня же и пойдем. Переодеться только тебе надо, патлы подобрать...

... Перед вечером, в тот же день, я, одетый в подержанный сюртук, в помятой шляпе, сидел уже за кулисами деревянного дачного театра. Ждал, когда начнет облачать в хламиды и наклеивать бороды парикмахер: мы должны были изображать толпу калик перехожих.

... Обрядились. Прищел белобрысый: Дунаев. «Режиссер, заправила театра», — шепнул мне тут на ухо приятель-декоратор.

Погнал нас белобрысый, как стадо баранов, в самую глубь кулис, где валялись щепки, крашеные полотна и огарки, откуда несло вонью зверинца и куда мы входили, как в храм.

— Звонок. Приготовьтесь к выходу!..

А как мы выходили на подмостки, что делали, я не помнил. Помню только: едва я пошел впереди толпы с домрой, у меня отклеилась и упала на пол половина бороды.

... Из зала зарычали на меня тысячью голосов... И я, сробев, стал быстро креститься... А как раз в это время надо было играть на домре плясовую и откалывать трепака: калики-то шли в свадебном хороводе.

Когда же (в конце представленья) Дунаев, грозя мне из-за кулис кулаком, прорычал дико: «Ты почему не плясал, р-ракалья?..», я с испугу подхватил полы барахла и пустился в пляс...

— То-ми-лину... Т-о-о-милину!.. — ревела в это время, рукоплеща, дачная балаганная толпа.

— Уррра-а...

Кучка актеров подхватила светлую смуглянку. Подвела ее к огням рампы. Под крохотные ножки сыпались цветы, восторженные клики. Томилина раскланивалась короткими кивками... Брала в охапку цветы, а сама не знала даже, что делать ей с цветами и восторгами... Обронила цветы.

Но тут подбежал я с половиной бороды в пестрой своей хламиде. Подобрал цветы.

Пробормотал, подавая их Томилиной:

— Я тоже... Заме-ча-тельно... Как поклонник и почитатель, так сказать...

Только цветы так и остались у меня в руках

... Когда выходил я из театра, приятель-декоратор с проклятьями вырвал у меня смятые цветы и втоптал их в грязь.

... Привет тебе, моя юная жизнь!